

С. ГАНДЛЕВСКИЙ • ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

# ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА

«Пушкинский фонд» • МСМХСVI  
Санкт-Петербург



Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

# ТРЕПАНАЦИЯ ЧЕРЕПА

*История болезни*

«Пушкинский фонд» • МСМХСVI  
Санкт-Петербург

ББК 84. Р7  
Г19

Марка издательства работы  
*Сергея Семенова*

ISBN 5—85767—097—7

© С. Гандлевский, 1996

жене

*Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организациями.*

*Ф.М.Достоевский*

Когда я открывал глаза, она уже болела. А может, меня просто-напросто будила головная боль. Белый боксер Чарли, племенной брак, внеплановая вязка, махом сигал на кровать. Я по привычке заслонял солнечное сплетение и пах: в засранце сорок кило весу и люберецкая силища. Жена поворачивалась на правый бок, а я отбивался от кобельего панибратства и брезгливо натягивал отсыревшие за ночь портки и рубаху. В полуксдах на босу ногу я спускался на террасу. Не из отцовской бережности, а чтобы урвать еще четверть часа тишины, на цыпочках проходил мимо детской комнаты.

В ушах шумело. По первости я, случалось, озирался: откуда? Пока не смекнул, что я — он и есть источник шума. Чарли вился вокруг меня мелким бесом, и мы доходили до задней калитки. Лес начинался сразу. Я задерживался у ствола поваленной накануне березы. Чистая работа. Жаль, конечно, тем более, что береза — символ русской духовности и особого пути России, но работа чистая. Хотя шведские березы будут поавантажней. Когда мы слонялись с Рубинштейном по Стокгольму в сентябре девяносто второго, меня озадачило засилье роз на газонах. Я взялся умничать. «Лева, — воскликнул я, — ведь северная страна, вроде нашей! Вот что значит близость Гольфстрима!» Рубинштейн согласился со мной в принципе, но вскользь заметил, что во дворе шведского посольства в Москве из-за роз тоже плюнуть некуда.

Чарли метил ближайшую ель, балансируя на трех ногах, потом прищипывая суетливо кружить по подлеску, наконец пристраиваясь, напоминая страдальчески ослабившегося горбуна, и оставлял солдатскую кучу. От облегчения он делал два-три скачка вбок, прихватывая пастью еловую шишку и приглашал меня поразвлечься. Дудки, теперь моя очередь.

Я запираюсь в будке на краю участка, курю, тискаю ладонью невыносимый лоб и по привычке читаю заголовки на лоскутах пожелтевших газет. «На необъятных просторах Родины». Понятно. «Обуздать...» Оборвано, но тоже понятно. «Позор...» — и снова ворсистый обрыв. «Гореть пионерским кострам!» Гори они огнем. Словом, родина — ширь да простор: папуасы, канюзы, озера. Гутен-таг, полуночник-костер! И конечно, привычка к позору... День начался, и что делать? Снять штаны и бегать. Была там еще шутка в том же роде. А! «От Украины, Молдовы, России (в штанах) дети советской страны (без штанов) бросили тоже цветы полевые (в штанах) в гребень дунайской волны (без штанов)»...

Суя по визгу и взаимным обвинениям, дети проснулись. За завтраком я заведу ежедневную волюнку: Александра, нет такого слова «клевый»; Гриша, нож передают рукоятью вперед, и тэ дэ. Мрачный из меня получился папаша, скучный. Человек полюбен мухе на мяче, — еклезнаствовал я, — и в каждом возрасте жизни своей мнит, что обретается в главной точке шара, а всего мяча не видит, никогда.

Слышится Ленино «доброе утро» и ответное «здравия желаю!» соседа. Это с ним идем мы на днях поселковой улицей, а он все сокрушается, что у него ограду по весне выпрет: работяги схалтурили, неглубоко столбы врыли, а промерзание — метр восемьдесят.

— Вы строитель? — спрашиваю я с подвохом, потому что профессия здешних насельников — зона умалчивания.

— Все относительно в этом мире, Сережа, все относительно. Релятивизм.

Господи, Твоя воля! По какому такому правилу буравчика она раскалывается изо дня в день! М-м-м-м. Хоть рулоном туалетной бумаги башку обмотай и ходи так. Чтобы знали, сволочи, как мне хреново.

Нет, соседи не каты — инженеры, завербованные органами, челядь. Но эти братья Черепановы еще покажут зубы, когда, отзавтракав и срыгнув, вгрызутся всем вурдалачьим ведомством в череп мой, полный черного перезвона, кто во что горазд — дрелями, электрорубанками, газонокосилками и бензопилами системы «Дружба»: выкладывай, гад, подноготную.

Каты нет, а вот шпион — есть. Резидент разведки в Сан-Томе и Принсипи. На них, по слухам, Андропов орал на общем собрании: «Американцы, — орал Андропов, — за свои деньги землю руют. А вы сидите в посольстве, как мышь под венником, только зря валюту переводите!» Нашему председателю после восьми лет напоминаний шпион принес 8 рублей за электричество.

— Ты что, — изумился председатель, — физику в школе не учил?

— Показания счетчика, — положил шпион конец прениям.

Это у него прошлой зимой другой полковник при похмельном содействии сторожа скоммуниздил два куба шпунтованного бруса.

С востока и юга отношения самые сносные, и не надо дважды просить дернуть за веревку, когда береза уже подпилена и накренилась. А если есть место в машине, охотно подбросят до Москвы.

Ну дожили: сидеть беззаботно с офицером госбезопасности. Слово за слово разговориться понемногу о житье-бытье... — ровно то, чего я боялся пуше огня, когда три неразборчивых близнеца в кожаных пальто ни свет ни заря в декабре восемьдесят первого ввалились к Оле на Фили.

Понемногу разговориться! И думать не могли! И я мазал себе впопыхах на кухне запястье зеленым фломастером. Так, узелок на память: у тебя есть мать, у тебя было детство с велосипедом и Стивенсоном, ты любишь Пушкина и, главное, будет очень стыдно.



Они поторапливали, машина ждала внизу. На ходу я шепнул Оле, чтобы заговаривала им зубы, и, спрятав пиво под свитер, заперся в ванной. Черт, открывалку забыл! Я отвернул до отказа оба крана, чтобы заглушить возню с бутылкой, и чуть ли не зубной щеткой содрал крышечку. Сидя на краю ванны, я ташил из горла под плеск в два крана. Сам виноват, чего малодушничал, тянул резину? А то не знал, что в конце концов возьмут за хобот. Еще когда позвонил из Чоботов домой и мать не своим голосом наемкнула ясней ясного на обыск. А ты еще гулял два дня по пустому поселку, репетировал. Пока Оля прямо не спросила: «Ты что, боишься?» Это уже было слишком. Потянулись в Москву, решили развлечься. Пошли в «Мир» на фильм Дамиано Дамиани «Я боюсь». Людей живьем бросали в жидкий бетон. Правосудие на эти шалости смотрело сквозь пальцы. На выходе, видя, что я не развеселился, Оля предложила: «Купим бутылочку винца?» Купили три сухого, на сдачу взяли одну пива.

— Я готов, — крикнул я визитерам, задвигая ногой бутылку за дверь.

Ехали с ветерком по осевой линии Кутузовского проспекта. Антенна гнулась от скорости. Промажнули дом Бороздиной. Юность. Улицу Дунаевского. Детство и отрочество. Олю близнецы галантно ссадили у метро «Дзержинская»: ей на работу на Цветной бульвар. Покружили вокруг главного здания и пришвартовались к двухэтажной постройке прошлого века. «Приехали. Выходите, пожалуйста».

Сколько же вас, мать ети, город в городе. Черные «Волги». Волокнут брезентовые мешки, верно, с обысков. Сотрудники перебегают из подъезда в подъезд, из здания в здание налегке, без верхней одежды. Дают знакомцам пять, скалятся: сам-то как? А твоя как? Поеживаются на морозце. Во влип!

Проводят меня на второй этаж в затрапезную комнату. Сажусь, озираясь — ничего приметного: комната как комната. Вкатывается, улыбаясь, мой Порфирий, представляется: майор Кобаев. Выученик Альбрехта, говорю о протоколе.

— Ну вы профессионал, Сергей Маркович, — смеется майор, — а как же без протокола, все по науке.

Доходим слово за слово до Козловского. Один раз видел я его. Или два. Толстый, с рыжей бородой, залысинами; ничего не скажешь, похож на прозаика.

— Ну и о чем вы говорили?

— О литературе. Об «Альтисте Данилове».

— Хочу почитать, все руки не доходят. Хорошо он пишет?

— Я не читал.

— Как же вы обсуждали?

— Бывает, что еще не читал, а уже не нравится.

— «Красную площадь» читали Козловского?

— Нет.

— «Мы встретились в раю»?

— Нет, — что чистая правда. Все «Континенты» шли через Кенжеева, и до меня очередь не дошла. Он Сопровского больше любил, а меня за дурачка держал, татарчонок.

— Как же вы со товарищи собираетесь его защищать, письма пишете, а сами не читали?

И я развожу отрепетированную бодягу про вымысел и клевету.

— А где вам позволят такой вымысел? В ЮАР? В Чили?

— В интересный ряд вы ставите нашу страну, — говорю я и поздравляю себя.

Майор посмеивается и разводит руками: дал маху. Я прошу позволения закурить и тотчас жалею об этом: у меня руки неверны после вчерашнего сухого, а он решит, что со страху. Я прошусь в уборную, и тоже напрасно, потому что он провожает меня оживленным коридором и дышит за моей спиной, а двери в кабинке нет. И что-то мне не журчится. Я еще со школы знаю, что не могу на людях. Под гогот одноклассников уходил, простояв в праздности над писсуаром минуту-другую, и терпел до дому.

Возвращаемся, занимаем исходные позиции. Молчим, долго молчим.

— А это что такое? — восклицает он победоносно и выкладывает, как козырного туза, на стол лист в косую линейку, исписанный моим пьяным почерком.

И я говорю с изумлением и облегчением:

— Так и трудовая у вас, и паспорт, и военный билет?

Боже ты мой! А я грешил на Чумака, думал, он видит, что меня развезло, и с пьяной заботой снял с меня планшет, а вернуть забыл и уехал с концами. Это все бездомность, благодарность и хронический алкоголизм. Это боязнь оказаться свиньей Печориным при встрече с Максим Максимычем, хотя говорить особенно не о чем. Это гордость интеллигента, даже такого опустившегося, как я, дружбой с человеком из народа, простым, как грабли.

Я до последнего не верил в его приезд. Звонил Чумак с интервалом в год-полтора то из Газли, то из Чарджоу, то из Андижана. Слышно было плохо из-за помех и тяжелого опьянения звонившего. На «здорово, братан» и «я приеду, братан» разговор стопорился. И я решил, что у него такая симптоматика, почему бы нет? Его спяну тянет на переговорный пункт, а меня, к примеру, гостить — и чем дальше ехать, тем лучше, будь то Кибиров в Кошкове или Коваль в Отрадном.

И вдруг он приезжает и не один! А с «узкопленочной подружкой», как говорит он с простодушным расизмом. И со спиногрызом. И они усталые, грязные, после трех суток плацкартной езды. Жена с ребенком лезут в ванную. Мама всех кормит. Но Миша Чумак не мыться ко мне приехал и не макароны есть. Нужно продолжение, а у меня — ну никак нельзя: мать дома, отец придет с работы вот-вот, брат вернется из института, а в моей комнате спит «узкопленочная» с мальцом. И под невинным предлогом и скорбным материнским взглядом мы выскальзываем из дому, и от универсама на «Юго-Западной», отоварившись, я звоню Пахомову и беру его силой, без экивоков. Явно ему не до питья, да и мне не до гульбы, но так карта легла.

Спасибо тебе, Аркадий, что вошел в положение. У тебя и у самого старики были дома, и Евгения Сергеевна музицировала за стеной. Мы выставили на стол три андроповки. Ты сыграл кожей лица (знак веселого неодобрения), тайком принес черного хлеба (а то родители думали, мы в лото играем), и — понеслось говно по трубам! Стало шумно, но больше всех усердствовал я. По-моему, я вовсе вам не дал рта раскрыть. Мы пришли уже на взводе, приняли по дороге, и вообще я горазд врать, и Мишу на-

до было представить с лучшей стороны... Но и история, согласись, того стоит.

Мне всегда, знаешь, не просто устроиться в экспедиции. Если в отделе кадров спрашивают военный билет, я смекаю, что дело швах: статья 2-б. В семьдесят восьмом году не везло и все тут. На кадровиков напал административный восторг. Середина мая, а я все еще болтаюсь, как дерьмо в проруби. Поташился я к черту на рога, в Люблино. Автобусы, пересадки, адрес на бумажке. Вроде моя улица, вышел. Проезжая часть перегорожена турникетом; милиции, как собак нерезаных. Показываю адрес. Иди, говорят, в обход, здесь нельзя. Нашел наконец. Сидит такой улыбчивый начальник лет 35. Располагает к себе. Знакомимся. Юра Афанасов.

— Что у вас такое происходит? — спрашиваю. — Плутал огородами, все перекрыто.

— Да, чудика вроде вас судят.

— ?

— Юрия Орлова.

Я сразу признаюсь, что у меня неполадки с военным билетом. У нас с этим просто, успокоил меня Афанасов, были бы руки-ноги. И меня в два счета оформили на три месяца на Мангышлак с одним условием, правда. Что я буду сопровождать туда две платформы с экспедиционными машинами. И я соглашаюсь, а куда я денусь?

— Ну, бон вояж, — говорит мне мой новый начальник на прощанье, — желаю вам, чтоб вас не сбросили с платформы.

— А что, были случаи? — заинтересовался я.

— Вы не волнуйтесь, — отвечает симпатяга Афанасов.

Я приуныл, что придется тащиться до места неделю-другую. А потом думаю, ладно, проеду по России по-пушкински, малой скоростью.

И мы поехали по-пушкински. Ехали без малого месяц. Было нас, сопровождающих, четверо. Не сидел один я. В первые же дни мы пропили всю наличность, драки начались уже на второй день пути. Тогда я понял впервые: не надо стараться понравиться, искать общий язык. Это справедливо сочтут за слабость и не пощадят. Своевременное открытие избавило меня от рукопри-

кладства. Я только разнимал дерущихся, удавалось мне это так себе. Я дивился инфантилизму попутчиков. С вечера били друг другу морды, выливали жратву на голову кашевару Вите Кукушкину, а с утра сходились как ни в чем не бывало. Точно трехлетние дети, повздоровшие в песочнице из-за формочек. Или полное пренебрежение свободой. Да побудь я с неделю в аду, воспоминания о котором не сходят у них с языка, кажется, улицу боялся бы на красный свет перейти, а им хоть бы хны. Вот уже поторговывают экспедиционным имуществом, тушенкой прельстили голодный Воронеж. Что им, на воле пресно, что ли?

Но главные сюрпризы начались за Макатом. Продали все, что плохо лежало, и пропили. Покончили с «колесами» — экспедиционной аптечкой — и вот уже Витя Кукушкин, что твой Франциск Ассизский, беседует с кедами по душам. Мне-то что: я читаю. В одно прекрасное утро остро запахло кофе. Ночью состав переформировали и вплотную к нашим платформам пристегнули вагон с колониальным товаром. Совет в Филях длился недолго. Мои отпетые сотрудники на ходу, по-волчьи, один за одним перемахнули на крышу впереди идущего вагона. Товарняк в сорок вагонов грохотал по совершенно плоской полупустыне, и только редкие верблюды оживляли прекрасный по-своему пейзаж. Кто-то свесился и сбил пломбы. Дверь откатили, грабеж начался. Через четверть часа пять-шесть больших коробов с молотым арабика загромождали платформу. Грабители даже не удосужились накрыть улики брезентом. Разбрелись спать кто куда.

Утром следующего дня на каком-то разъезде мы подобрали двоих. Одного, сухощавого, с зубами в шахматном порядке, звали Миша Чумак, а другого, совсем молодого, бритого — уже не помню как. Помню только, что был он богато проиллюстрирован: шея, грудь, спина, живот — русалки, орлы, факелы — всего не перечечь. И вид имел подонистый. Приятелями они не были, случайно сошлись в пустыне. Миша Чумак погнался на мотоцикле за сайгаками, мотоцикл занесло на бархане, крутануло, вертануло, чего-то он юзом — и вот Миша здесь в одной рубашке, а нужно ему в Ургенч, трудоустроиваться. Второй, с картинками, помалкивал, но, как я понял, он намертво заблудился и только благодаря Чумаку вышел к железнодорожному полотну.

К вечеру мы внезапно встали посреди пустыни. Ни с того, ни с сего. Разъезд был неподалеку, мы сбегали, и смотритель объяснил, что локомотив не тянет. Состав тяжелый, а локомотив слабосильный, вот он и не тянет. И он уже час как отстегнулся, бросил обезглавленный товарняк и дунул обратно в Макат. А когда будет мощный локомотив — неизвестно. Должен быть.

— Ждать нам до мархуевой пятницы, — сказал Чумак и оказался прав.

Стояли мы на жаре и день, и два, и три. И было нас на весь безжизненный состав, протянувшийся километра на два, шестеро, если не считать работника ж/д в будке с мухами. Я, спустя рукава, бодался с английской книжкой. Остальные резались в самодельные карты в буру и сику, а я — пас, после того, как меня в Певеке обули. Скучно было смертельно. Виля, как я гроблю молодость над книгой, Чумак предупредил: «Зря ты это, Серый, заёб в голову зайдет». И вель как в воду глядел, аукнулось через семнадцать лет!

К воскресному утру вышли вода, еда и курево. Миша взял сорокалитровую флягу за неимением меньшей емкости и порыл в степь. Я увязался за ним. Рот у него не закрывался, и бахвалился он интересно. Все у него в жизни было так же, как и у оставшихся на платформе, да не так же. Они бесперечь и со смаком вспоминали зону, мусолили ужасы, а Чумак неволю поминал с неохотой. Зная, что о статьях спрашивать не годится, я все-таки не удержался, и оказались все его ходки сущим детским садом: то он кому-то навешал с пьяных глаз, то ему навешали. То уснул он, пьяный, в балкэ и от его памирины сгорел народнохозяйственный объект. Или угнал обкомовских индюшек и жарил девкам шашлыки на арыке. Бузотер. Говорил он без знаков препинания, как Телескопов. «Мир животных», — с деланным сокрушением начинал он бессчетную амурную историю, и я слушал, как иностранец, как работал он дальнобойщиком и подпоили они плечевую, и чем дело закончилось. И, бредя по степи, собирая дикий чеснок, я обрадовался человеку и почувствовал, что устал от джунглей на колесах, потому что уже две с половиной недели даже во сне был настороже: напрягли меня попутчики. Так, слово за слово, этим по столу, набрали мы на пустую бытов-

ку бурильщиков. Вагончик был обжитой, убранный, с японкой на стене. Миша позаимствовал воды, взял малость сухарей и пару «примы» из россыпи пачек. Мы перекурили в теньке бытовки и потянулись к нашему товарняку на горизонте. Дорогу срезали через солончак. Фляга рвала руки, и Чумака научил нести в распор. Мы показали спутникам надыбанное, и гоп-компания с матерком сорвалась с места по нашим следам.

Воротились они веселые часа через три, и по обрывкам разговора я понял, что ублюдки оттянулись вовсю, ни в чем себе не отказали, чуть ли не во флягу бурильщикам нассали. Достали нераспечатанную колоду карт и пошли заходить с бубей. Так мы еще один день уговорили.

К ночи, смотрю я, картежники отстрелялись, но в машину по-заведенному спать не лезут, а хоронятся кто где, причем каждый норовит запастись железякой поувесистей. А я пока не понимаю. Курим мы с Чумаком на кабине шестьдесят-шестерки лицом на закат, и он мне вдруг говорит со знаками препинания: «В понедельник к пяти утра на скважину завезут бурильщиков. Они все звери и вооружены, а на солончаке следы. Ты как знаешь, а я часа через три линияю, они разбираться не будут». А я ему в ответ рассказываю кофейное приключение. А он мне, квалифицированный юрист-заочник, перечисляет статьи и сроки: грабеж со взломом, хищение госимущества в особо крупных размерах. Тоже, говорит, разбираться не будут. И часа два в темноте мы шараваристо разгружаем машину, кладем кофе на дно и снова ее загружаем. И курим. «Ну что? — спрашивает Миша. — Я рву когти, айда со мной?» И, заглушая его предложение, состав наш лязгнул, дернул, ожил и тихо-тихо-тихо тронулся.

Через два-три дня прибыли мы к месту назначения, на станцию Мангышлак. Четверо неразлучных скатили пердячим паром по двум доскам газик и погнали в Шевченко: баб трясти. А нам с Чумаком велели сторожить. А мне все кофе покоя не дает. И говорю я Чумаку, решившись: «Что нам здесь высиживать, ебалом торговать? Нашлись начальники: «сторожите». Давай-ка мы этот кофе сбавим с плеч долой, а то я мандражирую».

— Очко жим-жим?

— Ну.

И мы тем же макаром по тем же доскам скатываем второй газик, извлекаем из-под спуда короба, грузим и едем на станцию; недалеко — с километр. С заднего хода, не торгуясь, мы вносим это дело в подсобку станционного буфета, получаем от мамули что нам причитается плюс четыре «Солнцедара». И все довольны. Потом мы немножко катаемся по пыльному поселку Мангышлак и возвращаемся на сортировочную. Все цело. Мы раскладываем посреди запасных путей экспедиционный стол, брезентовые кресла, на стол ставим горючее, хлеб, зелень и, не спеша, пьем, чтоб дети грома не боялись и хуй до старости стоял! Смеркается — мы сидим в сумерках, темнеет — мы сидим в темноте, пока мирное наше сиденье, как в кошмарном сне, не оборачивается избиением Миши Чумака при свете фар. Это ни с чем, с ломотой в мошонках, трезвая и злая, воротилась блатная четверка. И я прыгаю, слепой от яркого света, тычу конечностями в матерящуюся кучу-малу и зову на помощь хоть кого — людей, черта, дьявола, Чипа и Дейла, которых не было тогда и в помине.

— Помоги ему, Аркадий, он не может найти.

Пока я разорялся, Чумак мой спекся и теперь давал качку в коридоре в поисках двери в уборную. Да и меня как-то стремительно развозит. То ли я выдохся, солирую, то ли и впрямь андроповка — коварная водка. И я ловлю на себе озабоченный взгляд Аркаши Пахомова. Не бэ, хозяин, мы встаем и уходим и, клянусь, мы дойдем до места, и так будет со всяким, кто повысит цены на техасских свиней! На посошок.

Около метро «ВДНХ», где вечная толчея, мы сразу теряем друг друга. Но я подумал, что Чумак доберется, адрес он помнит. Вернее, ничего я не подумал, а был разбужен дежурной по станции на «Белые», конечной. Я выхожу, трезвея, на перрон и спохватываюсь: планшет. Он точно был при мне, когда мы уходили от Пахомова. Надо бы мне туда еще метрику положить, для комплекта! М-м-м!

И четыре дня — мало мне было заочного обыска и нерво-трепки с ожиданием привода — меня оторопь брала, что предстоят жэки, паспортные столы, военкоматы, отделения милиции, заявления, объяснения, справки, справки, справки! А планшет



— вот он, рыбка моя, вот он, птичка моя, — лежит на столе у Копаяева.

— Ну так как же, — выводит меня Копаяев из радостного замешательства. — Что все это значит? — и он строго указывает подбородком на злополучную расписку.

Как такое объяснить? Ей-Богу, не знаю. Благорасположенного, но здравомыслящего человека стошнит от своеобразия иных моих обстоятельств... А тут белоглазый с комсомольским брюшком. Как объяснить, что можно выйти на три минуты с поимным ведром, а вернуться через трое суток из Ленинграда и без ведра?

Ну да, мы сидели неделю назад у нас с Кенжеевым, в Чоботах, где снимали комнату и кухню на зимней даче бывшего прокурора по расстрельным делам, Николая Ивановича. Через проулок от аптеки. Кроме нас с Бахытом были Сопровский и Володя Семенов. Говорили, ясное дело, об аресте Козловского. Пили, конечно. Деятельный Сопровский сказал, что нельзя бросать товарища по цеху в беде. Надо написать письмо. Один экземпляр для отмазки отправить в Союз писателей, а другой «потерять». Высказывали все за и против, потом стали составлять цибулку. Пили. А этот Володя Семенов — хороший товарищ и в Бурденко ко мне приходил, но у него есть одна особенность: когда он берет свою дозу, он становится индюк индюком. Вот и на этот раз — Володя залил глаза; тут люди горячатся, письмо турецкому султану катают, а он гудит: не надо ничего бояться, я подмахну любую бумагу, не глядя, — и все это под руку. А меня этот гундеж бесит, потому что не знаю, как у остальных, а у меня очко играет. И главное, стрезва у Володи хватает и честности и мужества рассказывать, как в шестидесятые ему Буковский сказал: «Вали все на меня, меня все равно сажать будут». Потому что Володю собирались гнать из комсомола за то, что он, сын академика, разрешил выставиться в отцовской квартире каким-то не тем художником. А сейчас он огрел триста с лихуем и геройствует.

— Правда, — спрашиваю, — любую бумагу подпишешь?

— Правда, — говорит.

— Не глядя?

— Не глядя.

И я с края стола, пьяный урод, на листке в косую линейку пишу: «С уставом МРП ознакомлен. Прошу считать меня членом боевой организации. Обязуюсь в указанный срок быть в назначенном месте с оружием». Володя мне эту бумагу подмахивает, как и обещал, не глядя. А я даю ему ее прочесть, а он отмахивается от меня добродушно со словами: «мудозвон». Я перестаю злиться и говорю, что в трудную минуту буду у него с помощью этой бамажки деньгу вымогать. Как она попала в планшет — ума не приложу.

Все это, но вкратце, без фамилий и психологии, я и излагаю Копаеву, а он за мной записывает, повторяя, как дошкольник, вслух, и я слышу краем уха: «с целью вымогательства».

— Что вы делаете, — кричу я, — это ведь статья!

И он улыбается. А после посерьезнел и говорит:

— Значит, мы делаем так. Вы нам приводите этого вашего товарища, раз не хотите назвать его имени без разрешения. А мы вам отдаем документы, идет? И давайте трудоустраивайтесь, а то смотрите, какой у вас разрыв — семь месяцев. И имейте в виду, мы знаем все, даже про морковку Климонтовича. Пропуск вам подпишут внизу.

— У меня нет паспорта.

— У черт, — и он проводит меня через вахту.

А Коля Климонтович только на днях рассказывал, что у себя в бибиревском универсаме он, от нечего делать, поменял местами ценники на контейнерах с морковью.

Я вдыхаю дивный воздух декабря, закуриваю и думаю, что Володе Семенову я, конечно, ничего не скажу — и без того позорище. Документы они мне и так рано или поздно вернут. Еще я думаю: «Диссидент. Освободитель Отечества. Узник совести. Дерьмо. Алик подзаборный». Еще я думаю, стирая снежком какую-то зелень с запястья, что на работу придется устраиваться, раз имел глупость засветиться.

Биография у меня в некотором смысле образцово-показательная. В ней налицо все приметы изгойства: бытовая неприкаянность, пьянство, трения с властями, вечная сторожевая служба, сезонные экспедиции. Все, с чем сейчас так носятся редакционные тузы, начинавшие соловьями перестройки, пугавшие ино-

го отщепенца — было, было — внезапными объятьями, хлебом-солью и воплем: «Честный вы мой человек!» Сейчас меня даже коробит от этой биографической стадности, от жизни по лекалу. Неужели нельзя было выдумать ничего своего?

«Ты же интеллигент в сельмом поколении! — с гневом и горечью отчитывал меня отец. — Лучшие годы коту под хвост, ни уму ни сердцу!»

Ну это мой бедный папа не совсем прав, были и поучительные истории. Еду я на попутках с королевским пуделем Максимом вдоль границы из Ванча в Ош. Контингент ввели в декабре, а я еду в октябре. Граница жиденькая. Заставы через 50 километров, столбы с колючей проволокой местами повалены. Мы с Максимом даже купнулись в Пяндже, рискуя схлопотать пулю. В езде на попутках есть одно правило: платить можно не платить, а вот спать нельзя. Это заразительно. Шофер закемарит с тобой заодно, и машина сыграет в пропасть. Надо водилу развлекать, отрабатывать проезд. Ехал я урывками; кто на пять, кто на десять километров подбросит. Первую ночь ночевал в придорожном кишлаке, вторую — в Хороге, аж в гостинице. Стоял перед ней бюст Маркса. И я диву дался. Немецкий безвестный экономист, ебанашка, а вот через сто лет с гаком торчит его гипсовая башка чуть ли не в Гималаях!

Администраторша гостиницы было заартачилась насчет собаки, но я наплел престарелой памирке, что псина научная и завезена в высокогорье для космических изысканий. Я молод был, у меня от зубов отскакивало. Проснулся я от скулежа Максима. Он стоял по брюхо в моче и кашках. Башмаки мои и рюкзак пропитались фекалиями и держались на плаву из последних сил: прорвало канализацию. Мы бежали без оглядки из говенного отеля и долго отмывались в Гунте, мнительно обнюхивая друг друга. И тут нам, наконец, повезло. Я голоснул, бензовоз притормозил, и водитель, складной малый, Мухаммед Якубов звали его, сам ехал в Ош и нас прихватывал. Доехали за два дня. Искупались в Джиландах в серном источнике. Первый ночлег устроили в Мургабе и покатали наутро по Восточному Памиру, плоскому, как стол. Только ледяными выстрелами вставляли вдали пики Ленина, Коммунизма и другие пики. То яки паслись у

обочины, то промелькивали войлочные киргизские поселки. Много все-таки мне досталось жизни! Молодец! Люблю!

Первую часть пути Мухаммед развлекался, дразня погранцов пуделем. Перевозить овец из района в район было нельзя: то ли карантин, то ли еще какая чушь. А тут кучерявый, овца овцой. И застоявшиеся от безделья в этой дыре часовые, потирая руки, бегут от своих будок у шлагбаума овцу отбирать. А та лает. А потом, вижу, заскучал парень. И у озера Кара-Куль с развлекательной целью я показываю на тамошних огромных ворон, тяжело парящих над мертвой водой, и спрашиваю:

— Как по-таджикски называется эта птица?

— Вы, русские, зовете ее «уткой», — отвечает оживившийся шофер, — вообще-то это ворона, но правильно говорить: «питиса».

Обратно релятивизм.

Так что кое-какого ума-разума можно было набраться и люмпенизируя.

Это была целая наука — абракадаброй отвечать на распросы. Первый урок мне преподавал Мухаммед Якубов, а спустя годы — Владимир Янович Альбрехт. Он учил говорить следователю такую правду, чтобы шанс подвести кого-нибудь сводился к нулю.

— Откуда у вас Евангелие?

— От Матфея.

Но самого Альбрехта его умение от лагеря не уберегло. А сватал нас с Сашей Сопровским на его лекцию «Этика допроса» Пригов. И проходила она на Малой Грузинской в квартире Леонида Бажанова. Так ведь, помните, Дмитрий Александрович? А помните, мы с Вами гуляли по Звенигороду, когда у Вити Санчука убежала собачка, и он спешил на каждое тьяканье и звал: «Лапсик! Лапсик!»

Мы бродили под монастырем вдоль Москва-реки, и Вы мне показывали заречную деревню, где жили с родителями в послевоенное лето. А потом от нечего делать мы пошли в Можжинку гонять шары. Я оживился, когда узнал, что Вы отродясь кия в руках не держали, и решил взять реванш за Витю, который делал меня только так.

Странно Вы как-то играли и разыгрались, Дмитрий Александрович! Не на шутку. Мы с Витькой превращали игру в игру, слонялись с ленцой вокруг бильярдного стола, играючи целили офицерские сальности, с подчеркнутым онегинством натирали мелом острие кия, целились, карикатурно отклячив задницы... А для Вас игра — не игрушки. Это было некрасиво: Вы брали бильярд нахрапом, ложились животом на стол, сопели, потели. Высунув от усердия кончик языка и чиркая кием по сукну, проталкивали шары в лузу. Разве так делается у порядочных людей? Бильярд должен щегольски шелкать, когда молния свояка просверкивает, как электричество на лабораторной по физике! Поэтому, когда Вы выиграли первую партию, я свысока порадовался за Вас, но положил про себя, что больше поддавок не будет. И выстроил шары свиньей для второго боя. Вы взялись за старое, но вскоре удручающее зрелище Ваших дилетантских потуг приобрело зловещий оттенок, и я начал мазать. К полночи Вы обыграли меня всухую — 13:0. Вы превратили балет в групповое изнасилование, и я посмотрел на Вас с новым интересом.

Эта Мозжинка — славное место. Сейчас там, по слухам, по году делают новые русские, но десять лет назад Мозжинка еще сохраняла свое двусмысленное очарование.

По преданию название местности происходит от мозжения черепов, любимой потехи здешних злодеев. Асфальтированная дорога внутреннего пользования пересекала поселок и обрывалась у лесистого спуска к Москва-реке. По правую руку оставляли Дом культуры с четырьмя дорическими колоннами с гулким вестибюлем, где по стенам развешаны были фотографические портреты академиков-домовладельцев. Дачи одинаковые, но богатые: в два этажа, со всеми удобствами; Сталин науку уважал и уважил. Кукурузное поле на том берегу реки живо напоминало своенравные труды Хрущева. Пахло русской историей советского периода. Штиль времени захватывал соглядатая врасплох, и можно было впасть в оцепенение и прожить, не прожив, пение *Gaudeamus*-а академическим баском и чтение «Марксизма и вопросов языкознания» на сон грядущий в баснословном прошлом, когда по придорожным канавам после летних гроз бежала дождевая вода вперемешку с адреналином. Злая наблюдательность

разночинца-шестисоточника отмечала латиноамериканское за-пустенье звенигородских латифундий: поваленные местами изгороди, крапиву по грудь.

Был нескончаемый синий сентябрь, и золотое обмундированье дубов падало под ноги рухлядью Третьего Рейха. Обитатели заповедника позволяли себе роскошь милой бесхозяйственности и несоветского доброжелательства. Если Витя исчезал на двое-трое суток и возвращался пьяный, как поляк, Генрих Эдуардович говорил гостю: «Мой сын принял близко к сердцу XX-й съезд партии и все последующее». Мне этот тон был в диковинку. Мой отец в подобных случаях бросал: «Женить или оскопить!» А Витина мама, Елена Исааковна, преподавала в свое время в школе словесность Владимиру Полетаеву. А я себя считаю его внучатым племянником по литературной линии. Потому что он жу-чил и пестовал двух девятиклассников, Александра Казинцева и Сашу Сопровского, и под их сильным влиянием, уже после смерти 18-летнего мэтра, я в 1971 году пустил петуха в рифму.

Юноша Полетаев обладал недюжинными поэтическими способностями, редкой для его возраста эрудицией и молодым нахальством. Раз он, первокурсник Литературного института, про-вел угловатого школьника, Казинцева, в Дом литераторов. Они сидели за кофе и увидели Арсения Тарковского, входившего в буфет.

— Арсений Александрович, можно вас на минуточку, — крикнул Полетаев.

Старик подошел, прихрамывая, Полетаев, как равный равному, отрекомендовал Казинцева, шестнадцатилетнюю надежду русской поэзии, старому поэту. Потом выяснилось, что Полетаев не был знаком с классиком даже шапочно.

До встречи с двумя одноклассниками-Александрями я стихов не писал за неумением рифмовать. Вернее писал, но в девять лет: «Мы дрались с ним уж двадцать раз. И светских мы чужды проказ». «Поэма о любви». Люся Выходцева. Я написал ей трусливую записку: «Люся, я тебя л. Если догадаешься, кто, положи ответ в мою парту». Письменные уверения во взаимности получил Женя Мешалов и с недоуменным восторгом делился со

мною своей дармовой удачей. Я слушал его, обмирая от сальерианства.

В 1970 году, вопреки семейной технократической традиции, я поступил на филологический факультет МГУ, чисто случайно. Сочинение было «Романтическая природа поэмы Лермонтова «Мцыри». Три четверти соискателей от волнения сбились с пути и стали описывать кустики-цветочки-природу. Натасканный репетитором Ниной Александровной Берман, я мертвой хваткой вцепился в тему и за час — с чувством, с толком, с расстановкой — накатал лист. Я уже поднимался славить свою писанину, когда соседка одесную, впоследствии сокурсница, а ныне мать-одиночка, Лера Андреева указала мне на дюжину пропущенных запятых. Так я получил «четверку» и был допущен к устному экзамену. Отвечал я плохо, но экзаменатор, А.И.Журавлева, слышала мою фамилию от своей приятельницы, а моей школьной учительницы, Веры Романовны Вайнберг, и поставила мне «пять». «Глаза у вашего Гандлевского умнее, чем его ответ», — сказала она Вере Романовне. Через год Вера Романовна перестала работать и принимать своих любимцев дома, потому что заболела раком мозга и теперь лежит где-то на Востряковском кладбище, и я ни разу не был на ее могиле.

Я подал документы на филфак, потому что решил заделаться великим писателем. Я не худо знал Пушкина, Маяковского, Багрицкого и Уткина — то, что не худо знал мой отец, — и собирался в собственных сочинениях получить среднее арифметическое между Анатолем Франсом и Достоевским; такие у меня были намерения.

В группе я был единственным юношей, и меня наспех избрали профоргом. Я намертво запутался в ведомостях и уже не надеялся выйти на свет Божий, когда ко мне подошел едва знакомый заочник, Сопровский, неряха, толстяк и коротышка с огромными голубыми глазами чуть навывкате, и с неожиданным участием спросил:

— Чем озабочен?

В восемнадцать лет я не умел отвечать просто, поэтому, пойдя пятнами, я сказал:

— Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительней, как найти того...

И Саша подхватил на лету, книгочей:

— ... кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается.

И мы стали неразлучны на двадцать лет с перерывами на ссоры.

А Александр Казинцев теперь профессионально радеет за русский народ, и мне это странно, потому что и раз и другой случилось мне по Сашиной просьбе провожать его с моих дней рождения до метро «Сокольники»: он боялся хулиганов. Остальные мои друзья и знакомые и я сам никаких специальных чувств к народу не испытываем, но и по улицам ходим без провожатых. А хулиганы, кто же их не боится? Страх перед шпаной я, выкормыш двора на Можайке, всосал с молоком матери и пронес до седых волос, и небезосновательно. Чего стоит хотя бы приключение трехгодичной давности?

Что-то я замечаю, большинство моих баек грешит единоначалием «пошли-купили», вроде сказочного зачина «жили-были»... Опсе урор а time 12 апреля 1991 года мы с Витей Ковалем пошли и чудом купили в магазине на Серпуховской за пять минут до закрытия две бутылки коньяку по 15 рублей. День был мрачный, и встречный ветер на Пятницкой подбрасывал уличный сор, шевелил моей запущенной бородой и вздымал гуцульские патлы шедшего рядом товарища. По дороге я прикинул, что Ленина любовь к Ковалю уравнивает Ленину нелюбовь к возлияниям, и расхрабрился вполне, когда мы свернули к нам на 1-й Новокузнецкий. Лена Ковалья любит, и есть за что. Его камлания дремучи и не имеют ничего общего с квадратным весельем шарлатана, начитавшегося Хейзинги. У Вити женское чутье на грубятину и казарму, оттого он умеет сморозить солоно, как никто. Айзенберг сказал, что с Ковалем страшно вато дружить, потому что чудится, будто одной ногою он ступает по земле, а другой — по пустоте. На мужские забавы, соприродные бане и сочинской пуле, Коваль раз за разом отвечает белогорячечными причудами и компанию расстраивает.



Августовская кампания шестьдесят восьмого года застала его в армии. Однополчане пребывали в боевой готовности и потирали руки в предвкушении дать чехам просрать, когда Коваль превысил свою дозу на нервной почве и побрел в исподнем по плацу, жестикулируя и проповедуя панславянское примирение. Безумцу казалось, что он витийствует на стогнах центрально-европейского города, украшенных конными статуями. Дедовской самосуд спас юродствующего от трибунала.

Или с жениной калмыцкой родней он поехал на охоту в заповедник. Дорогой его стало мутить от предстоящего. Но невеста в стеклянном пиджаке и здесь пришла суженому на выручку: он начал куролесить и был выдворен неголующими мужчинами-охотниками из автобуса на знойное шоссе. Лачуга мудреца китайца подвернулась как нельзя кстати, и часом позже, напутствуемый старым буддистом, босой Коваль топал по обочине в сторону Элисты.

А когда мы гастролировали в Швеции, из зала пришла записка: шведская девушка с нордической прямокой рубанула, что хочет от Вити ребенка.

Вот с таким человеком и двумя бутылками я явился пред Ленины зеленые очи 12 апреля три года назад.

Лена присоединилась к нам, дети были у тещи, и мы славно усидели вечер и даже на бис многократно спели далеко за полночь песню времен братаний и радений Первого московского фестиваля молодежи и студентов: та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-а-а -та-а-а-ра-ра-ра-а-а-а (2 раза).

Наутро я со значением сказал, что в холодильнике есть соленая рыба. Мы вооружились трех- и пятилитровой банками и пошли в автопоилку в Климентовском переулке.

Права Наташа Молчанская — бытовой пьяница может потянуться и сказать запросто: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?»; алкоголик на такое не решится. Для утоления своей похоти ему нужен предлог, даже и вовсе смехотворный, ссылка на святость обычая. Ну хорошо, была рыба. И что это, повод высосать чем свет восемь литров пива, будто уж и не едят соленую рыбу просто так, без ничего или с картошкой, скажем? А не будь рыбы, мы бы разошлись по домам? Нет. Мы бы оты-

скали какое-нибудь мягкое яблоко и уверили друг друга и Лену, что фрукты требуют сухих вин, двухрублевой кислятины. Попадись нам плесневелый огурец, мы бы подняли волну, что непорядок: соленья есть, а водки нет. Ну, а если бы в доме было шаром покати? Мы, вероятно, выжрали бы одеколон: он не предполагает сопутствующих яств.

В загоне на Климентовском гундела похмельная давка и пахивало мордобоем. Кое-кому уже удалось очутиться по ту сторону добра и зла и брать без очереди. А очередей было две: сперва за двугривенными, а после собственно за пивом — в тесном ангаре слева. Мы отмаялись минут сорок за монетками и пристроились в пивной хвост. Сброд в автопоилке уже не казался на одно лицо, как китайцы, а поддавался классификации. Большой разряд — понурые пьяницы с пересохшими ртами, вроде нас с Ковалем. Банки, авоськи, монеты в потном кулаке. И второй, немногочисленный, но заметный — пять-семь человек с приблатненной ухваткой и волчьей пластикой.

Холодный ком трусости, как клубок гадов, шевельнулся у меня в желудке. Захотелось уйти — пропади оно пропадом, это пойло, — но шеколда уже запала. Образовался и пахан, двухметровый мой тезка — во такой шкаф. Он загородил вход в пивной ангар и по своему усмотрению впускал или не впускал, посмеиваясь и вась-вась со своими. Мы с Витей подошли вплотную к цели, и уже завиднелись пивные автоматы, когда дело застопорилось. Пахан повернулся к очереди спиной и увлекся разговором с корешами. Становилось стыдно. Я тронул эту здоровенную спину и сказал, что пора бы уже и пускать. Он обернулся.

— Пивка захотелось? — изумился Серега. — А заходите.

По куражливой вежливости я догадался, что дело будет, и, входя, снял очки и положил их в нагрудный карман. Мы зарядили обе банки и обреченно потянулись к выходу. Но такого стремительного избиения я ожидать не мог. Не дав опомниться, нас втокнули в служебный дворик — обитый жестью закуток под открытым небом. Раздалось Витино: «Вы что, мужики!» Раздалось и смолкло. Сопенье, топотня и матерщина покрыли наше страдальческое повизгиванье. Две заботы было у меня: устоять и не очутиться под ногами и сбереечь обнову — металлокерамику

по бокам верхней челюсти. Под градом ударов я привалился для устойчивости спиной к жестяной стене, заслони́л руками голову и пустил дело на самотек. Работали нас всемером-восьмером и выпрямиться не давали.

— Смотри, кошелек! — раздалось над моей головой.

— Ом фустой, — сказал я разбитым ртом, но мне не поверили и дернули бумажник из разъявленного кармана куртки. Заинтересовавшись кошельком, сволочи потеряли к нам с Витей интерес и скрылись так же внезапно, как и нагрянули. Мы распрямылись. Себя я не видел, но Витю было не узнать: черт лица не наблюдалось, а то, что условно назову физиономией, фиолетовело на глазах. Мы вышли в пивной зал.

— Пиво течет, — невозмутимо предостерег Витю поддатый доброхот и указал на сумку с разбитой банкой.

Наглядным примером наказанного своеволия под безучастными взглядами менее строптивых насельников питейного заведения мы пересекли лобное место, и я предложил: «Может, пойдем в милицию?» Витя кивнул без энтузиазма.

Но сотрудники 47-го отделения милиции показали чудеса расторопности. Милиционеры и потерпевшие погрузились в два милицейских фургона и рванули к месту происшествия. Когда облава нагрянула в пивной зал, оказалось, что это было даже не потрудилось уйти, а потягивало пиво. Блеющую и вяло сопротивляющуюся шпану побросали в машины. По пути нас с Ковалем свозили в травмпункт, где наскоро сделали рентгеновские снимки черепов и вкатили по противостолбнячному уколу.

В милиции не было единства во мнении. Следователь-ястреб говорил: «Они подонки, нечего жалеть, их сажать надо». Голубь, напротив, приглашал нас в кабинет и сидел с отсутствующим видом, пока очередной подонок сулил нам золотые горы за мордобой. Пятеро из семерых были 73-го года, то есть годились нам в сыновья. Удивила и некоторая отвратительная интимность, наметившаяся в наших отношениях с хулиганами. Они вникали в подробности махаловки, доверительно сообщали, что дай они себе волю, вообще бы размазали по асфальту, так что непонятно, из-за чего весь сыр-бор. Такая короткость может существовать у

гинеколога с пациенткой: раз уж туда заглянул, так чего миндальничать, выкаты.

Через два часа этой мататы мы с Витей пошли, было, на пятный, только бы выйти на свежий воздух, но тут один милицейский чин в штатском малость переборщил. Он бросил походя (а мы в очередной раз сидели в коридоре), что бьется об заклад: даже и напиши мы заявления по форме, и раскрутись это дело, нас все равно купят. И дает он нам на все про все три недели. В его практике обсдач не было. И он заговорщицки отхлебнул «Фанты», сославшись на сухость во рту после дня космонавтики. Тут остатки ретивого взыграли в нас с Ковалем и мы в пику чину в штатском накатали потребные телеги.

Недели полторы я походил в черных очках, ссадины подживали, только еще с полгода дергалась кожа на темени. К тому времени, как нас стали таскать в районную прокуратуру к следователю Холодович, в головах наших выкристаллизовался гениальный апрельский тезис. Такой: раз судьба ублюдков в наших руках, сажать мы их не будем, как-никак мы данники абстрактного гуманизма. Брать с них откупное — тоже не годится, вроде мы назначаем, сколько стоит отоваривать нас по кумполу. Мы их будем бить рублем, но не в свою пользу, а в пользу бастующих шахтеров. Тогда как раз собирали средства для шахтерских семей. И мы изложили эту мысль следователю и недорослям. Больше нас не вызывали.

Аналогия с Иваном Ильичом не могла не прийти мне в болящую голову два с половиной года спустя, когда начались мои поликлинические мытарства. В повести преуспевающий средний чиновник полез поправлять гардину, оступился, зашиб внутренности и — пожалуйста: помер. И здесь сходный случай. Тихомирно пошли апрельским утром с закадычным приятелем освежить утомленный мозг восемью литрами разбавленного пива, а в итоге мне — умирать. Из-за разыгравшегося замоскворецкого юношества.

К 1 сентября минувшего года мы воротились с дачи в Москву, и я зачастил в поликлинику на Аэропортовской и тогда же пошел работать.

В конце августа мне позвонила Наташа Молчанская и сказала, что в связи со смертью Лакшина все подвинулись и у них образовалась лишняя штатная единица. Вообще-то, продолжала она, место точь-в-точь под Гришу Дашевского, но он уже работает в РГГУ. Я перепугался, но Наташа меня успокоила: не понравится — уйдешь. И я пошел в «Иностранную литературу» для переговоров с Гришей Чхартишвили. Он встретил меня любезно и даже сказал, что они меня «очень ждут». Я честно признался, что, во-первых, знаю английский через пень-колоду, а во-вторых, знаком с иностранной литературой самым поверхностным образом. Ну, читал в детстве Дюма и Стендаля, в молодости Фолкнера и Сэлинджера, а этим летом корпел в электричке над Ортега-и-Гассетом, если, конечно, удавалось сесть. Он меня утешил, что от меня не эрудиции ждут, а умственной живости, свежих идей.

К этому времени с умственной живостью у меня дело обстояло так. Например, разговариваю я сквозь толщу мигрени с Татьяной Владимировной Ланиной о Марвелле в переводах Бродского, и она говорит мне что-то вразумительное, а я в разговоре преследую постороннюю цель: скрыть от Татьяны Владимировны, что ее собеседник — идиот. И моя сверхзадача: держать остатком памяти, кто такие Марвелл, Бродский, моя собеседница, и припомнить через силу хотя бы несколько глаголов и существительных русского языка, чтобы не молчать вовсе. Прилагательные уже роскошь. И смотреть строго между двумя Татьянами Владимировнами, чтобы расфокусированность моего взгляда не бросилась в глаза Татьяне Владимировне реальной и единственной. Потому что к этому времени все зримое обзавелось для меня близнецом. Тогда мне ничего не стоило с тарелкой супа в дрожащих руках пересечь буфетную у нас в подвале и снести стул-другой справа по борту. А дрожь в руках была уже не похмельной напастью, а постоянной спутницей. Сперва я отказался от любимой китайской авторучки с золотым пером, Лениного подарка. Потом не мог совладать и с простенькой шариковой, хоть и прижимал ее к листу до посинения фаланг. Потом и провести карандашом черту стало выше моих сил. Так я работал редактором.

А в свободное от работы время я прилежно навещивался в поликлинику к невропатологу Авроре Ионовне Пиковской. Я рассказывал ей о детских припадках и взрослой потасовке, излагал симптоматику. Она терпеливо выслушивала меня и давала направления к окулисту, на рентген черепа, к ухо-горлу-носу на проверку слуха и нюха. Прописала таблетки — проку не было. Записала на консультацию к профессору. Как-то в конце осени я столкнулся с Авророй Ионовной случайно в коридоре поликлиники и спросил:

— Вы забыли про меня?

— Нет, — сказала она. — С консультантами не можем об оплате договориться.

В середине декабря меня позвали на консультацию.

Это был форменный доктор Айболит, седенький, уютный. Его и звали-то, как гнома: Джано Николаевич. Отличник болезни, я сразу достал из портфеля энцефалограмму.

— А зачем мне ваша энцефалограмма, когда вы у меня есть? — улыбнулся Джано Николаевич и достал молоточек.

И сразу у меня отлегло от сердца, точно я не сорокалетний испитой мужик с сивой головой и собственноручно испохабленной жизнью, а пришел, как тридцать лет назад приходил с мамой вот к таким же профессорам вот с такими же молоточками. И все мне здесь было знакомо: и расспросы, и простукивание, и попадание вслепую указательным пальцем в кончик носа. Век бы не уходил. Но меня попросили посидеть в коридоре. А потом снова пригласили, и Джано Николаевич мне и говорит:

— Давайте мы вот как поступим. Вы уж разоритесь на томографию мозга — в Бурденко или на Каширке, — томографов сейчас много развелось. Сперва отметем все худшее, а после займемся вашим здоровьем, да? Это они в два дня сделают и результаты выдадут вам на руки.

— Вечером — деньги, утром — стулья, — пояснила его мысль Аврора Ионовна.

И я взял направление и ушел обнадеженный.

Дома я прочел направление. Понял все, кроме одного слова на латыни: *strabōnus*. Как обманутый муж из чеховского рассказа, я взгромоздился на стремянку, достал с полки словарь и на-

шел: «strabo, -ōnus (*греч.*) 1) косоглазый, страдающий косоглазием; 2) завистливый человек, завистник». Первое, скорее всего; но это я и сам знал. А второе значение отпадало. «Нет! никогда я зависти не знал... ниже когда Пиччини» и тэ дэ. Даже тебе, Алеша, я и смолоду не завидовал; догадывался, наверное, что сам не лыком шит, не пальцем делан.

Вот таким манером, мой строгий товарищ, я и намерен писать. На пятом десятке клубок прошлого бесформен, как «борода» на спиннинге пачинающего удильщика, и можно тянуть за любой узел этой бессмыслицы и путаницы; занятие на любителя.

Мне тут тринадцатого января сделали трепанацию черепа и удалили доброкачественную опухоль-менингиому 5—6-летнего возраста. Главной дostoевской мысли там не нашли, но спустя двенадцать часов, когда наркоз выветрился окончательно и я перестал грезить и мучительно собирать свои задрипанные пожитки: обшарпанные чемоданчики и дерматиновые сумки 50-х годов со сломанными молниями, меня как прорвало. Алеша, на сорок втором году я впервые с полной достоверностью ощутил, что смерть действительно придет и «я настоящий»; и все мелочи и подробности моей немудрящей жизни предстали мне вопиющими и драгоценными. Ко мне вернулись память и дар речи, и я никак не могу заткнуть фонтан. Меня осенила бессвязность фолкнеровского Бенджи, ибо я думаю одновременно обо всем, и мысли мои разбегаются, как ртуть из разбитого градусника.

Сам любитель легкого чтения, я бы и себе пожелал сочинить что-нибудь такое. Чего я домогаюсь этой писаниной? О, притязанья мои велики!

... Спустит с утра пораньше научный огородник послезавтрашних лет с раскладушки тощие ноги в гусиной коже. Поскребет в своей садовой голове, раскинет мозгами. «Заделаю-ка я погреб. Два на два. По давешней брошюре. Офигенный. Ханку-то хватит жрать». Натянет треники с оторванной левой штрипкой, нащупает автоматом галоши. Возьмет из сарайки штыковую лопату и — пошло-поехало: мы работы не боимся, только порево давай. На штык, на штык, на штык. Два на два. Дурь-то потом и выйдет, если движок не сорву.

Скоренько улетучивается время за земляными работами. Сперва срезаешь пластами тяжелый дерн и сокрушаешься: ох тонок гумусовый слой, ох беден! Потом врубаешься в глину и ма-тюкаешь упругие, в три пальца толщиной, корни; но вот и они порубаны, работа спорится, день разгорается. С утра небо было вовсе синим-синим, а к полудню два-три облачка такими болонками колбасятся над трудягой. Он уже выше пояса в яме, а маслянистой глине — то желтой, то фиолетовой с прожилками — конца нет. Где же ты, песочек, обещанный ученою книжкой? Вот лопата издает костяной стук и дальше не идет. Плешивый садовод-любитель берет малость в сторону, вгоняет штык наполовину и — выковыривает помеху научному рытью. Хрена себе песочек, бына в рот! Угораздило! Закопать это дело обратно — жалко похмельных трудов; отбросить лопатой за изгородь в лес — найдут, по ментовкам затаскают. И он тоскует на корточках над зловещей находкой. Ишь ты ощерился! В правом верхнем углу — железяка. Правильно, все правильно. Это мне в Литфонде поставил маэстро Горшков В.Ю. 17 000 все удовольствие. Богатенький был, сучара, — продолжает осмотр мой герой, — металлокерамика! А вот это как раз ошибка. Делал налево еще при советской власти умелец Анатолий Евгеньевич. Семьсот рублей старыми штука. Тоже, впрочем, кусалось. Все относительно, как говаривали в этом поселке когда-то. «Кто ж ему чанто расколл?» — подивится нечаянный эксгуматор, заметив костяную заплату с ладонь на темени ископаемого. «Тут завяжешь», — умело подведет базу под созревающее намерение огородник, глянет на часы, ахнет, выкарабкается из ямы и затрусит по жаре в гору в изгвазданных глиной трениках об одной штрипке — к поречьинской стекляшке.

— Ну, Клав, впусти! — взмолится он у вставшей руки в бок в заветных дверях властительницы дум в белом несвежем халате. — Движок встает!

И Клавдия Федоровна, суровая только для острастки, купюру возьмет и вынесет страдальцу бутыль с косою этикеткой и, не лишенная чувства слова, пробормочет вдогонку:

— Движок у него, у позорника, встает. Все остальное — на полшестого.



Он не утерпит до дому, привалится за обочиной на припеке и, хлебнув в придорожном ельничке раз, другой, третий, резюмирует: «Все там будем!» И тень набежавшего облака накроет горемыку-садовода, и он поеджится: что-то уж больно знакомое, га-дом буду! Тепло. Теплее. Горячо: школа. Продвинутая училка Маро Ашотовна, в просторечьи — Шаро Абортовна. Внеклассное чтение. Тарабарщина с медицинским названием.

А мысль о Букеровской премии посетила меня минут через двадцать после того, как я впервые после больницы заправил чернилами китайскую авторучку и положил на кухонный стол кипу свежей писчей бумаги в линейку. Но не мне, Алеша, открывать тебе глаза на забавные особенности нашего ремесла и меру его простодушия.

Закончу я свои рассказы, перемараю, перепечатаю набело и снова перемараю; а после спрячу на месяц в ящик письменного стола. Достану в назначенный срок и опять исчеркаю условными знаками и стрелками на полях: что куда переставить. И снова перепечатаю, небось не графья, особых компьютеров не держим.

Рубинштейн божится, что собственными ушами слышал, как один писатель другому в буфете ЦДЛ-а говорил: «Я, старик, недавно такую колбасятину забацил!» Вот забацию я свою колбасятину и, в случае удачи, подойду к зеркалу, как делаю всегда в случае удачи. Откуда что берется! Соль с перцем, как миттельшнауцер. Рыжая косая борода. Обильные брови. Небольшие глаза под приспущенными верхними веками. Очки. Толстый нос и губы. Асимметричные уши. Но талант! Талантище!! И я поощрительно похлопаю себя ладонью по морде, и кликну жену, и прочту ей все с начала до конца. «Очень хорошо», — скажет Лена, но я ей не поверю, потому что она любит меня, подлеца, и начну издалека:

— Давай — предложу я, — соберем людей, устроим чтение. Не всего, понятно, а так: отрывок-другой?

— Давай, — скажет Лена с недобрым предчувствием.

— Но без сиротства, — попру я, как на буфет, — с мясной фазой. На худой конец куры. (А сам имею в виду ящик водки.)

— Однова живем, — скажет Лена, давя в пепельнице окурок, и ее зеленые глаза потемнеют от расширения зрачков: ход моей мысли для жены не бином Ньютона.

— Что ты бесишься? — спрошу я. — Это ведь не просто посиделки — чаек-кофеек-пряники. Праздник есть праздник. Тем более, что люди нас одалживают, собрались на мои бредни. Их что, уже не надо отблагодарить за благорасположение? Почему в таких случаях, — повышу я голос и закурю вторую подряд, — почему все: Ковали, Айзенберги, Кибировы, Файбисовичи напрягаются, а у нас вечные салаттики? Нет, это все опрятно, вкусно и красиво, и все-таки?

— Ты знаешь, как я отношусь к твоему купечеству, — скажет Лена ненавидяще. — Тягаться с Файбисовичем и Кибировым — дурной тон: у всех своя жизнь и свои средства.

— Воинствующая бедность — тоже дурной тон, — скажу я, и мы поссоримся, чего я и добивался.

Будет все равно по-моему, но теперь у меня развязаны руки для двойной игры: бутылку в открытую — в буфет, две втихаря — за бачок в уборной, под диван и т.д. И так прикупать с приторным равнодушием в течение нескольких дней. Маленькие хитрости. Потом с полнедели я буду подлизываться и льстить, потому что дата чтения приближается, а хуже нет принимать гостей, когда в доме потрескивает электричество. И наконец мы помиримся, и накануне приема я начну крошить овощи для салата оливье, а Лена притащит импортных кур.

Вот все и в сборе. Я окину оценивающим взглядом сдвинутые столы под общей скатертью, салатницы, тарелки, приборы. Мне, любителю и знатоку симметрии, конечно, ранит глаз разносортца бокалов и рюмок, но — как быть, кто их бил, Пушкин, что ли?

После получасовой предзастольной топотни и зубоскальства гости рассядутся. А я проберусь во главу стола, разложу свои бумаги, хлопну грамм семьдесят для смелости и тещекого подъема и возьму слово. Я скажу: «Всем спасибо, всех рады видеть. Лет семь назад, еще в коммуналке, был у нас народ, в том числе и кое-кто из присутствующих, и я прошамкал смеха ради, что вот, мол, теперь порадую вас прозой. Поэтической. Сюжета не

ждите — взгляд и нечто, темные ходы смутных ассоциаций. Прорва аллюзий. Неожиданным образом мое тогдашнее шутовство сбылось. Но снисхождения к слабости как раз бы и не хотелось. Я не принадлежу, к счастью или к несчастью, к породе неистовых писателей, которые затаивают надолго злобу за слово критики. Так что, если кто-то ограничится отзывом типа «говно», обещаю не окрыситься, слишком верю в ваше доброе ко мне расположение, вполне взаимное. Приступаю. А вы, пожалуйста, выпивайте и закусывайте, лишь бы это не сказалось на трезвости суждений».

Такими словами, Алеша, собираюсь я предварить чтение, а поименно перечислить слушателей не возьмусь. Боюсь сглазить и поссориться ненароком, время сейчас ревнивое. Опять же дачный сезон на носу. И вообще разъезды наблюдаются. А будете вы — ты или Кенжеев — в наличности, you are welcome!

Ты чувствуешь, как меня развезло? Это похоже на второй день какого-нибудь моего запоя... Утро, и я разбужен звуками собственного сердцебиения, заполнившего комнату. Этот второй день — самый коварный, потому что энергия тревоги владеет мной безраздельно. Посадите меня сейчас на цепь, чтобы три-четыре дня спустя мне не лязгать зубами в липком поту под грудой ветоши, вцепившись в собственный рассудок, потому что он выскальзывает, как обмылок, из неверных рук, и рваные недосны мои чудовищны. Но в доме нет цепи, а силы матери или жены несоразмерны моему недужному упорству.

Мне, баловню нынешней алкогольной вольницы, уже не вспомнить, в какие годы они открывали в 11, а в какие в 14.00. Но поскольку повесть моя радостная, пусть сегодня в 11 — тютелька в тютельку отопрется обитая железом дверь, ибо до двух дня я не дотяну.

Никаких душей, все потом. Обыскать карманы: бумажные к бумажным, серебро к серебру, медь к меди. Теперь посуда. Брать всю, и будь что будет. 0,5: отдельно пивные, отдельно — водочные и коньячные. 0,8: соскоблить под струю теплой воды фольгу на случай продавца с принципами. О, мои руки! За мостом Ватерлоо местный алкаш с пониманием сказал: «shaking», когда я угощал его пегасиной, и протянул мне початую банку

пива. Бестактный Лева просто не сводил с них глаз в наши былые совместные поездки. Добрая душа Айзенберг предупреждает мои застольные конвульсии при попытке разлить спиртное по емкостям, а Тимур не задавал лишних вопросов, когда я просил заполнить за меня декларацию в аэропорту Хитроу.

0,7: последнее, но и тяжелейшее испытание. Какой-то болван, — может быть, я — вдавил пробки вовнутрь, и теперь они перекатываются по дну. Успокойся, не впадай в отчаяние: это только похмелье, а не конец света. Достань шнурок и терпеливо извлекай, другого пути у тебя нет. Вот и молодец. Теперь пересчитай, помножь поразрядно в уме, сложи результаты умножения, запомни итоговую сумму и пакуй. Готово. Одевайся по возможности неброско. Боже мой! Вчера я ходил по городу в дубовенковской шляпе, бабочке и в медицинском халате! Какой ужас, какая дешевка! Довольно казнить, пора.

С переборами в сердце, осклизаясь, но порывисто, целенаправленно — с гетевским Dahin — я иду к магазину. Очередь робко ропщет, делится несмелыми предположениями по поводу ассортимента. Наконец-то. Криминальный сумрак винного отдела. Берут без очереди. Терпи. День космонавтики девяносто первого года еще впереди, и ты еще свое получишь. Если сейчас начало восьмидесятых и я обретаюсь в Филях, то рано или поздно покажется прилавок с пластмассовым приспособлением, вроде утлого паруса надежды, и написано на нем будет: «Вас обслуживает продавец Екатерина Родина». А если я уже перебрался в Чоботы, то в пристанционном магазине совсем другая надпись: «Ничто не ценится нами так дорого и не дается так дешево, как вежливость и культура». А над изречением пришпилена репродукция рафаэлевой Мадонны. Или оригинал, я ни в чем сейчас вполне не уверен. У меня была теория, оправдывающая повальное советское пьянство. Бред, бред и ужас были предложены целому народу — от Курил до Карпат — в качестве режима дня и жизни. И целый народ за редким исключением предпочел справить трехсотлетие граненого стакана. У меня была другая теория, мистическое объяснение природы похмелья. Если ты покупаешь перемирие с миром всего за 3.62 или даже за 1.30, а не ценой внутренних усилий, то дрожи наутро, поделом тебе. «Боро-

да, уснул?» Вот оно! Говори и действуй, действуй и говори! Удачи! Пусть все будет хорошо, в конце концов каплю вымысла могу я себе позволить? Пусть мне хватит не на две сухих или на один портвейн, а на бутылку сухого 0,7 и бутылку белого портвейна 0,8, а там меня подхватит волна особого вдохновения, и сегодня, во всяком случае, я не пропаду, а о завтрашнем дне запрети себе думать! Теперь иди восвояси, только не поскользнься и не разбей; демон похмельного невезения еще не вполне потерял к тебе интерес.

Я начну, пожалуй, с портвейна, не спуская глаз с кровати, чтобы броситься навзничь, как отсовокуплявшийся кролик, если содрогающийся желудок вздумает выбросить бормотуху наружу. Семь минут, по мнению Саши Борисова, должно пройти, прежде чем спирт усвоится внутренностями и похмелье пойдет на убыль. Это-то я перетерплю, остаточные муки мне даже в радость.

Вот ведь «пресволочнейшая штуковина»! Так «бесстыдно и прямо» признаваться в своем пороке, а когда 12 января передо мной на больничной тумбочке лежал бланк «Согласие на операцию», где черным по белому предпоследним пунктом значится: «предупредить врача о наркомании или алкоголизме», я постеснялся признаться анестезиологу Олегу Андреевичу. Он еще что-то спрашивал по поводу систолы, накладывая вызвавшие мой интерес кружочки на мою грудь, выбритую накануне в обязательном порядке. А в открытую дверь операционной нам был мужской голос, что Коновалов начнет через двадцать минут. «Мы и начнем через двадцать минут», — сказал Олег Андреевич, а мне на мое любопытство ответил: «Нет, систола это не то же самое, что тахикардия». Еще бы ей не быть, систоле, если первый стакан водки налил мне Саша Сопровский на кухне у Миши Козьменко — сейчас скажу — 23 года назад.

Я встаю с кровати с шарами, софы, тахты, раскладушки, дивана — все зависит от места действия. Ложем может служить даже вялая трава пустыря за универсамом на «Юго-Западной», если время года позволяет завалиться наземь.

Свершилось, я могу закурить, а еще четверть часа назад одна мысль о табаке была чревата рвотой. И переложить сухим, которое откроется на диво легко, ибо руки снова послушны мне. И буду смотреть в окно, отирая с облегчением испарину; а там валит снег, или внятно звучит дождь, или ветер помыкает тополями; и сколько в мире приязни, и стоило ради нее помучиться. И начну бесконечный бессвязный разговор с Сашей, Бахытом, тобой, Мишей, Тимуром, другим Мишей, Виктором Оганесовичем, Ритой, Вайлем, Пушкиным, женой, Гришей, отцом, Витей, Бродским, Ходасевичем, Галичем, другим Витей, Ириной, Машей, Кукесом, детством, отрочеством, юностью, Молчанской, Стивенсоном, Честертоном, Набоковым, Головкиным, Соротокиным, Магариком, и захочу позвонить, написать, отбить телеграмму-«молнию» всем, всем, всем и начать сообщение с апостольского «Радуйся!».

Странное дело, Алеша, опыт и жизнь укатали и расковали нас, и, оказывается, мы умеем говорить и стрезва. Прошлой осенью я был твоим проводником на могилу Сопровского. Цветов на Преображенском рынке не оказалось, четвертинок помянуть — тоже, и ты купил «Сникерс» и бутылку пива.

Листва на кладбище оседала, как немой взрыв на карьере, чернели мраморные надгробья купцов старой веры. По дороге к Саше полупьяный старик уломал тебя помянуть его брата, а в мою сторону ты поспешно махнул рукой: «он не пьет». Когда старик узнал, что длинная конфета, которой вы закусываете, называется «Сникерсом», он воскликнул: «А я все слышу «Сникерс», «Сникерс», а «Сникерс» — вот он какой!» — и, кланяясь по-японски, засунул оставшееся в карман — порадовать внучку. А мы пошли дальше, но поплутали малость, пока я не узнал Сашин дубовый крест. Мы ставили его больше года назад — Петя Образцов, Сергиенко, Пахомов и я. Надо было укрепить забранное жестью изножье креста в головах могилы, и Петя Образцов, единственный, как оказалось, знавший технику цементирования, послал нас троих за кирпичным боем и булыжниками, а сам стал месить раствор. Поуродовались мы часа два, но и получилось, по-моему, хорошо.

Я открыл о соседнюю ограду пиво, мы сделали по глотку, остальное вылили на могилу, покурили и пошли к метро, оставив пустую бутылку на видном месте на обочине аллеи №10. Дорбгой, не помню уже по какому поводу, я сказал, что греки не ошибались, веруя в рок, и он действительно властвует над теми, кто не умеет молить о собственной свободной судьбе. Просто рок действует исподволь, и власть его проявляется не сразу, но дает о себе знать с возрастом. Много времени нужно, чтобы шестерни неизбежности сделали свой оборот и человек понял, как давно они зацепили его и тащат за собой. Еще я сказал, что Набоков близок к Софоклу, например, потому, что во всех романах его слышны шаги рока. Ты ответил не совсем впопад, как бывает с людьми, давно ушедшими в себя, что жизнь проверяет тебя на вшивость исполнением желаний: заграницей, службой, женитьбой, автомобильной катастрофой.

Давай, дорогой, прежде, чем я скажу тебе прощальное «vale», вспомним какой-нибудь случай из нашего общего прошлого; чеканная композиция сочинения от этого вряд ли пострадает. Мне все приходит на память история под кодовым названием «Голубая чашка». Какой-то изюминки она не лишена, а?

Вы с Сопровским жили тогда в Выхине, снимая комнату у вдовца Камышко, и проводили время в ученых препирательствах насчет форточки: быть ей открытой или нет? Я же, напротив, под видом аспиранта снимал однокомнатную квартиру на первом этаже в доме, что на пересечении улиц Свободы и Фомичевой. Двадцатидвухлетний, я снял квартиру для свиданий со взрослой женщиной, влюблен был до неприличия. В день моего вселения красавица расплевалась со мной по телефону, так ни разу и не переступив порога жилища, предназначавшегося ей. Но друзья-приятели, черные весельчаки и любители посыпать ближнему рану шестикопеечной солью, все равно окрестили квартиру «Ритиной».

Ты приехал ко мне в гости от «Ждановской» до «Тушино» на электричке зайцем. То ли тебе денег на честный билет не хватило, то ли жизнь еще не нагнала на тебя респектабельности, а тогдашние убеждения позволяли. Почему с тобой не было Сани — непонятно. Догадываюсь, что он решил воспользоваться одиноче-

ством и привести в исполнение игривые намерения, хотя ты на- строго запретил ему это, имея в виду одно из главных условий найма.

Маша Чемерисская чуть ли не в тот же день подарила тебе купленный за 109 рублей в рассрочку переносной ВЭФ на бата- рейках. В ближайшей стекляшке мы остановили свой выбор на трех литровых бутылках «Гамзы» в пластмассовой оплетке, об- легчающей транспортировку. Стоял ясный зимний день, и на- строение наше соответствовало: я позвякивал бутылками, ты, сияя, волок свою музыку. Кряхтя и сетуя на годы, мы расселись друг напротив друга у кухонного стола. Ты обстоятельно и по-хозяй- ски, сустав за суставом, выдвинул антенну, положенную обнове, поймал Моцарта, и мы занялись любимым делом, не спеша и чокаясь. Хоть убей (а к тому и идет), но темы нашей беседы я не упомяну. Ты, вероятно, тоже, даром что держишь в памяти во- семь языков и прочих ненужных подробностей.

«Колоться и колоть, балдеть и отрубаться!» — был тогда наш девиз, что я и сделал на узеньком красном диванчике, по- дарке Вали Яхонтовой. Скучно пить в одиночку, и ты для побуд- ки стал щекотать мне нос концом вытянутой до предела антен- ны. В сладком сне я отмахнулся и погнул ее. И тогда ты по врожденной или благоприобретенной и вполне простительной, учитывая наше поприще, склонности к эффектным жестам — щедрым подаркам и кровавым жертвам — хряснул ВЭФ об пол, и черный новый приемник развалился на куски, Моцарт умолк. Я спал, как ни в чем не бывало, только сладко причмок- нул. Ты, скорее всего, очутился около стола, налил чашку всклянть, опростал одним махом, повертел в руке и метнул ее, голубую, в мою сторону, угодив не ко времени спящему пряме- хонько в левый висок. Вот она, эта метина. Вещественное доказа- тельство невещественных отношений. Кровь выгнулась дугой, марая чужие обои. Ты заломил руки — и это я видел воочью, ибо вмиг пробудился и метнулся в совмещенный санузел, где от- разился в овале зеркала, понял, что убит, и бросился к телефону накручивать 03. А ты уже грохотал подъездной дверью, чтобы ловить какую-то машину. Но ловитва твоя не увенчалась успе- хом, а советская скорая помощь не грешила суетливостью.



Минут через сорок, опершись друг на друга (ты ослаб от угрызений, я — от смертной истомы), убийца и убиенный, в чалме из полотенца, замаячили на безрадостной ночной улице Свободы. И первая же машина оказалась хмелеуборочной. Правда, об этом я узнал только наутро, когда мне, наскоро заштопанному, выписали счет на пятнадцать рублей за алкоголь в крови. Тебе предстояло оплатить его. А ты, за полночь с тяжестью на сердце после убийства друга, сел, как Онегин, в электричку, воротился в Выхино и сказал Сопровскому, что, если Сережа умрет, ты повесишься.

Я же поутру, в тулупе на голое тело и с забинтованной, как сейчас, головой, звонил в двери «Ритиной квартиры», ключей-то со мной не было. Но там угадывалась какая-то жизнь, и я, позер, рассчитывал стать гвоздем программы. Дверь наконец отворили, но мало кто обратил на меня внимание; там полным ходом продолжался карнавал, потерявший, как учит нас Бахтин, свой всенародный характер. Но и такой, ущербный, он был люб мне, раз он приветил меня.

Надо было как-то объяснить родителям происхождение рубца на виске. Я сказал, что свежая ссадина — результат падения с лошади.

Ну-ка, возвращенная медиками память, докажи, что правду говорит «Выписка из истории болезни №13/94», выданная мне старшей сестрой Нилой Семеновной напоследок в Научно-исследовательском Ордена Трудового Красного Знамени Институте нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко: «В неврологическом статусе отмечается регресс неврологической симптоматики (улучшилась память на слова)». Имена оклеветанных животных, пожалуйста. Считаю до трех: раз, два, три. Варнак, орловский рысак. Агапка, кобыла ахалтекинской породы. Потрясающе.

Стоп-стоп-стоп: память памятью, мои поздравления, но я, сдается, вконец зарапортовался и запутался и в увечьях и во вранье.

Да, действительно, лунный двор, смахивающий на декорацию Большого театра, был. Была и пара лошадей, пощипывающих буханки черного хлеба на подсиненном полнолунием снегу. Был и владелец красавцев-зверей — художник, посаженный

впоследствии по 70-й статье. Но к тому времени, как я воспользовался приглашением приятелей-конюхов покататься верхом, Цветков уже три года жил в Америке, а шрам был уже другой и в другом месте и другого происхождения. Вот тогда-то и свалил я вину на четвероногих. Но об этой отметине распространяться не намерен.

— Ни хрена себе исповедальность! — брякнет иной правдолюб.

Во-первых, не надо на меня орать, не в трамвае, ведите себя. Во-вторых, перечитайте эпитафию. Достоевский, между прочим, не хухры-мухры. А в-третьих, не перебивайте, я вас, кажется, не перебивал... Я тут по ходу дела изобрел два-три двух-трехколесных транспортных средства. И открыл в придачу континент в Западном полушарии.

Окрыленный прецедентом Фердыщенко, дай, думал я, рубану правду-матку: все как есть. Но никакая она нам не матка, мачеха в лучшем случае. С такою же подозрительностью отношусь я и к абсолютной свободе. «Пусть она даже и не реализуема въяве». Абсолют мне мил только в шведском смысле слова. С перцем, например. Я бы вкатил абсолютной свободе прививку от бешенства. Чтоб меру знала. То же касается и чистой правды. Надо сопротивляться — чертить по полу ногами, упираться, хвататься за мебель и дверные косяки, пускать пузыри носом, бодать правду головой в живот и кусать ее за ее вонючие руки. Незавидно положение наше, и вызволит нас из беды уж во всяком случае не лежащий камень правды, а некая противоестественная составляющая скалярного валуна и векторного нашего бешенства. А правда, что правда? — анатомический театр. Последний парад победы этой чистой, одной только, полной, сущей матери-одиночки мне довелось наблюдать 17 декабря 1993 года в вестибюле института имени Бурденко.

Мне делали компьютерную томограмму мозга. Это было красиво, торжественно и походило на космонавтику. Врачи сидели за стеклянной перегородкой, а я лежал на механическом топчане, который жужжал подо мной, подымался и задвигал меня головой вперед в какие-то подмигивающие, электронные, по моим понятиям, недра. Электрон так же неисчерпаем, как атом,

черт побери! Когда аппаратура отжужжала свое, я встал, надел очки и обувь, а из-за перегородки вышла горевестница в белом халате.

— У вас там нехорошо, — сказала она, — опухоль в лобно-теменной области мозга и большой отек. Вы москвич? Тогда вы можете с этими снимками лечь в больницу, нужна операция. А то зайдите к нашему главному врачу.

— Как найти вашего главного врача? — хрипло спросил я.

— Из проходной налево, увидите табличку. Подождите снимков в вестибюле.

Я встал на ходули смертного страха, направился в вестибюль и начал метаться по мраморным клеткам пола, как взбесившаяся пешка. Два-три раза я выходил наружу судорожно покурить, возвращался и снова громыхал новенькими ходулями от тяжелых двойных дверей до прямоугольного зеркала. «Вот оно, ты, получается, настоящий», — с мрачной праздничностью цитировал я про себя свосму серому близнецу в айзенберговских очках и сопровской шапочке. Вынесли снимки: шесть маленьких негативов с моим черепом в разных проекциях, не больше фотографий на загранпаспорт. Прилагалось заключение. Помню слова «опухоль-менингиома», и еще смещение чего-то там на 6 мм. Я прикинул на глаз зазор в шесть миллиметров между большим и указательным пальцами. Расстояние получилось левым, не метр во всяком случае. Но ведь это — МОЙ МОЗГ, а не хер собачий!!! Б-р-р-р. Вспомнил, что сегодня вернисаж у Семы Файбисовича, и я увижу на прощанье милых мне людей и выпью хорошенько, раз так. Взял из проходной налево и вошел в дверь рядом с табличкой «Главный врач».

Леонид Юрьевич Глазман. Дни и часы приема. Я ждал на казенном стуле, чтобы вышел предыдущий посетитель, только зря отвлекавший главного врача от главной моей новорожденной беды.

Леонид Юрьевич посмотрел на законный зимний свет сквозь мой чудовищный снимок и говорит:

— Такие опухоли обычно доброкачественные, но операция нужна. Вам сейчас как, время позволяет?

— Я сейчас абсолютно свободен, — ответил я из другой оперы и спросил, моля и заискивая, с лживой бодростью: — Это удовольствие на месяц, примерно?

— Как минимум три недели, — говорит Глазман. — Приходите к девяти с четвертью в понедельник со снимками в нашу поликлинику к регистратуре.

— А электроэнцефалограмму и литфондовское направление взять? — усердствую я.

— Оставьте себе на память, вам Саша кем приходится?

— Брат.

— Ну желаю удачи, не потеряйте снимков.

И после рукопожатия я натягиваю сопроводкую шапочку на вторую по счету обреченную голову и выхожу на улицу Фадеева. Еще минуточку-другую я механически верчу литфондовское направление, а потом, скомкав, бросаю его в урну.

Как-то я взял дочь с собой в поликлинику, не помню уж почему. Когда я объяснил удивленной с непривычки дочери происхождение чистоты, обходительности и безлюдья, Саша спросила:

— И что, все они писатели?

Я кивнул.

— Какая глупость, — скорчила дочь гримасу.

Человек 70 было принято заочно и скопом в прогрессивный Союз писателей после августа 1991 года. Сам этот заглазный прием был щелчком по носу: предполагалось, что всем невтерпещ. Но дареному коню в зубы не смотрят. К августовским баррикадам я отношения не имел.

19 августа застало всю семью на даче. Радио у нас нет, а черно-белый дачный телевизор так нехотя говорил и показывал, что мы на него махнули рукой. Утром, когда мы вшестером (у нас гостила моя двоюродная сестра с трехлетним сыном) возвращались после ритуального чильд-гарольдовского купания в поселковой ледяной речушке Романихе, сосед крикнул через забор, что Горбачева сместили и правильно сделали. Мы заторопились к дому и стали уламывать телевизор если уж не прозреть, то хотя бы не немотствовать. И прибор внял мольбам, а Кубинка в тот день была скупа на учебные вылеты, причину телезаиканья

и смаргиванья. Пресс-конференция и крупноразмашистый тремор различались сносно.

Наутро мы с Леной отправились в Москву, препоручив своих спиногрызов долготерпению кухни. Мы ехали из-за гражданского равнодушия и по договоренности с Николаем Александровичем, тестем-доброхотом, вызвавшимся помочь мне, безрукому, навесить стеллажи в нашем новом жилье. На одном из гранитных столбов метро «Новокузнецкая» висел призыв идти на митинг к Белому дому. До митинга оставался час времени, и я проводил жену до квартиры. Мы поглазели на танк в подворотне Комитета теле- и радиовещания. Танкисты без шлемов сидели на броне и пили кефир из пакетов. Я бросил на Лену домашний бедлам, а сам пошел назад. У эскалатора кто-то дал мне в спешке листовку за подписью отважного Ельцина, призывавшего к неповиновению новым властям. Я доехал до «Краснопресненской» и влился в столпотворение, но слышно было хорошо. Говорила Боннэр; что-то, как всегда в корневую рифму, сказал Евтушенко; были и другие, запамätованные ораторы. Минут через сорок гражданское вдохновение мое подыссыкло и долг отца семейства погнал меня восвояси.

Дома меня ждала неловкость: тесть уже приехал и вместе с дочерью (метр с кепкой) они ворочали что-то неподъемное. Дотемна я с удвоенным рвением суетился и был на подхвате: сверлил дырки, строгал пробки, мылил шурупы. Часов в одиннадцать заперли нежилую квартиру и вышли на улицу. Утренние танкисты уже не пили кефира, а стояли рядом с танками в шлемах и с автоматами наперевес. На «Кольцевой» мы простились с Николаем Александровичем; он направился к себе в Строгино, а мы — ночевать на Кутузовский к Татьяне Аркадьевне, Лениной матери. «Советую ехать на дачу, мало ли что», — сказал тесть на прощанье.

На «Киевской-радиальной» я на секунду оторвал зад от дерматинового сиденья при виде недвусмысленно выходящих из вагона мужчин, но усталость, трусость и слабое женино сопротивление взяли верх и зад опустился. Так я легко пересек описанную Чеславом Милошем границу между покладистостью и порядочностью.

Той августовской ночью, засыпая у тещи (а со стороны парламента погромыхивало или казалось, что погромыхивает), я подумал, что утром, если что случится, будет стыдно. Стыдно и было. Теледиктор сообщил: «К сожалению, пролилась кровь», и урэнному туалету как-то мешало зеркало. Вспомнилась иллюстрация из детского издания «Тихого Дона»: Мишка Кошевой лежит на боку с травинкой в зубах посреди чистого поля. Поодаль — стреноженные лошади. «Люди за свободу воюют, а я кобылок пасу», — такая была подпись.

21 августа снова проходило в трудах праведных по благоустройству жилища. Среди дня я наконец дозвонился до Пети Образцова, а тот трое суток безвылазно дежурил в самом пекле. Я спросил, чем могу быть полезен, и Петя сказал: «Ты смени когонибудь этой ночью». Перекусив хлебом и кефиром, мы с женой на ватных от усталости ногах поплелись в детскую и начали ставить враспор между полом и потолком три трубы детского стадиона с канатом, турником, качелями и кольцами. Мы запутались окончательно, но нас выручил Тимур-золотые руки, зашедший мимоходом с почетной бессонницей и бутылкой портвейна.

Среди дня позвонила Наташа Мазо и сказала, что только что радио сообщило о поимке инсургентов по дороге на аэродром. Жена заторопилась на дачу, а мы с Тимуром допили и вышли на улицу.

На следующий день я продолжал домашнюю колготню, а вечером у меня было назначено свидание с Петей Образцовым на «Дзержинке»; он обещал, что такого я еще не видел: заваливали памятник. Но воодушевления я не испытал. То ли я не имел на него права, то ли годы мои вышли. Поглазели с часик и отправились к Пете, где набрались по самую ватерлинию. Наутро я маханул стакан и заявился на дачу с опухшей мордой и конюшней во рту.

Как мы оказались в этом Киеве, длинный мой язык? Кому я здесь племянник и зачем поминать бузину на шести сотках в Тучково? А вот как: я вспомнил массовый набор в Союз писателей.

Ну приняли и приняли, говна-пирога. Через несколько месяцев оказалось, что две или три рекомендации все-таки нужны, хоть и задним числом. Вот те на! Это как если бы кого-нибудь

пригласили в ресторан и он наугощался на славу в простоте сердечной, а потом выяснилось бы, что пригласивший и не думает расплачиваться и предполагается складчина... Само собой получилось, что эту тягомотину надо игнорировать. Потом стало известно о вступлении Пригова. Его дело. Потом прошел слух, что гурмана Леву засекают частенько в ресторане ЦДЛ. Я набрался духа и спросил его однажды прямо в лоб: так или не так? Он ответил, что все так, но никаких рекомендаций он не приносил, а ему поверили на слово. Я решил про себя, что он врет от неловкости. Но, когда настал черед моего грехопадения и у меня обнаружился недобор рекомендаций, и я скривился и пообещал принести после, мне попомнили «моего Рубинштейна» с его обещаниями.

Одну рекомендацию мне дал, сидя у нас за чаем, мой вильнюсский товарищ, Витя Чубаров, а вторую — Юрий Ряшенцев. Он — одноклассник и самый старый друг моего дяди, Юры Гандлевского. Ряшенцев не раз помогал мне в пору моей непечатной юности, и я благодаря ему (и не только ему) с восьмидесяти пятого года живу литературным трудом и в общем концы с концами свожу.

Двадцать лет назад я показал Ряшенцеву, единственному тогда знакомому профессионалу, свои лучшие 7—10 стихотворений и три-четыре перевода. Он нашел несколько версификационных огрехов и направил меня к Чухонцеву в «Юность». Чухонцев сказал, что похоже на Кушнера. Вечером того же дня я был у дяди и снова столкнулся с Ряшенцевым. Ему я не постеснялся признаться, что никогда не читал Кушнера. Ряшенцев тотчас снимает трубку, звонит Чухонцеву и говорит: «Гандлевский сказал, что не читал Кушнера». Чудные они все-таки люди!

Но обычно дело обстояло не так безобидно, и кое-какие счета можно и свести. В начале семидесятых Кенжеев, Цветков, Сопровский и я предприняли достаточно простодушный поход по редакциям. Меня, помню, больше всего поразило, что сидел перед тобой не старый косноязычный убийца-чекист, порастраивший молодость по пыточным, а вполне антропоморфный субъект. Литературный сотрудник читал рукопись, корил тебя за литературность, пастернакипь, мандельштампы, отсутствие

Бога и дуновения смерти и отправлял ни с чем. Дома или в читальне ты листал подшивку журнала, в котором потерпел неудачу, и сплошь и рядом натыкался на такие, предположим, вирши:

Я рад сердечно, что впервые  
не розы и не соловьи —  
озимые и яровые  
в стихи врываются мои.

Только зарифмованы они были покорявее, потому что этот куплет сейчас для нужд повествования сложил я. И ты понимал, что сидел перед янычаром и тебя водили за нос, обули, говоря попросту.

Однажды я пошел за компанию с Цветковым в «Юность», он шел за ответом. Принял нас громадный мужчина, Леонид Латынин, тогда поэт, а сейчас крупномасштабный прозаик, взявшийся охватить романом всю Русь — со времен Стрибога и бороны-суковатки по нашу пору. Бог помочь. Громадный литератор по советскому головоутиямству куда-то засунул Алешину рукопись, а найти не может. Такое случается. Цветков нервничает и исподволь закипает, а я с интересом молодости жду извинений. Но Латынин лениво подвигал ящики письменного стола, покосил глаза в редакционные папки с тесемками; вскоре ему это наскучило. Он сцепил огромные ручки, открыл рот и говорит:

— Могу вас утешить: при пожаре Александрийской библиотеки сгорели почти все трагедии Еврипида. Но как же выросли в цене уцелевшие шесть!

И этого урока нам хватило. И потом почти двадцать лет — вплоть до горбачевской перестройки — ни я и никто из литераторов, знаемых, любимых или уважаемых мной, в эти Александрийские библиотеки носу не казал, близко к ним не подходил! Разве что Кеңжеев, но у него это как-то обаятельно, непротивно получалось, потому что он даже не легкий, а легбк.



Я имею честь принадлежать, — и сейчас я не паясничаю, а говорю вполне серьезно, — действительно, и м е ю ч е с т ь принадлежать к кругу литераторов, раз и навсегда обуздавших в себе похоть печататься. Во всяком случае в советской печати.

Можно было быть занудой или весельчаком, трусом или смельчаком, скупердяем или бессребреником, пьяницей или трезвенником, лебоширом или тихоней, бабником или однолюбом, но обивать редакционные пороги было нельзя.

Можно было быть кандидатом или доктором наук, сторожем, лифтером, архитектором, бойлерщиком, тунейдцем, разнорабочим, альфонсом; можно было врезать замки и глазки, пить эфедрин, курить анашу, колоться морфием, переводить с любого на любой, выдавать книги в библиотеке, но чувствовать себя советским пишущим неудачником было запрещено. Сам воздух такой неудачи был упразднен, и это, конечно, победа. Нытье, причиты, голошенье по печатному станку считались похабным жанром. Похабней могло быть только сотрудничество с госбезопасностью. Такой был монастырь, и такой, «чтоб ты знал, устав». Мы (второй раз подряд прибегну к помощи Айзенберга) не налегали из года в год на редакционную дверь, мы и не ввалились туда, когда ее внезапно распахнули, веселые и жалкие, как Бобчинский с Добчинским.

Я этого круга не идеализирую, для этого я слишком хорошо его знаю, и никому глаз не колю. Просто я оттуда родом и рассказываю о диковишных нравах и обычаях своей родины. Литература была для нас личным делом. На кухню, в сторожку, в бойлерную не помещались никакие абстрактные читатель, народ, страна. Некому было открывать глаза или вразумлять. Все всё и так знали. Гражданскому долгу, именно как внешнему должествованию, просто неоткуда было взяться. И если кто писал антисоветчину, то по сердечной склонности. Меня поэтому так озадачил рассказ Евтушенко в коротичевском «Огоньке» о том, на какие уловки он шел, чем жертвовал, в какие двусмысленные отношения вступал с высокими партийными чинами, только б его не разлучали с читателем, позволяли открывать глаза. Совершенно непонятный мне склад души.

С Евтушенко у меня старинные и странные отношения, вернее их нет никаких, но они все равно странные и старинные.

Я нечаянно украл у жены Евтушенко тигрового боксера, сучку.

Смолоду у меня был особый дар: брать деньги у незнакомых людей. С отдачей, правда, так что я не стал аферистом и фотографии мои не развешивали на вокзалах и перекрестках с призывом «обезвредить преступника». А мог бы прославиться, безусловный талант имел к вымогательству.

Когда какая-нибудь компания пила день, другой, третий, пропивалась вчистую и начинала мрачнеть, но и разойтись не могла, я понимал, что пробил мой час, да и все, кто знал о моем даре, начинали поглядывать на меня с надеждой. Делалось так: я выходил на лестничную клетку, поднимался на лифте на верхний этаж (спускаться, оно легче) и начинал звонить по очереди во все квартиры подряд и стрелять денег — пятерку, десятку, четвертной — кто сколько может. Успех сопутствовал мне. Тут нужно чутье, поверхностное обаяние, чувство меры, а главное — правда в точных дозировках. Последнее, кстати, пригождается мне сейчас, когда я подался в прозаики.

Вот я звоню в дверь и еще ничего не знаю, но верю в свою звезду и жду прилива вдохновенной наглости. Кто мне отопрет? Хмурый семьянин в тренировочном костюме и шлепанцах на босу ногу? Тогда нужен мужественно-доверительный тон: мол, оба мы мужики и передраги эти нам знакомы. А если домохозяйка в халате и с руками в мыле по локоть оторвалась от стирки на неожиданный звонок? Тогда и тональность совсем другая и легенда чуть видоизменяется: эдакий миляга-студент неуклюже борется со смущением; просить ему внове, да вот нечем обмыть сланную сессию, диплом, курсовую. Метод понятен, да? Как ответил Витя Коваль, когда мы с «Альманахом» ездили на гастроли в Ярославль, на вопрос местной журналистки, сможет ли кто другой прочесть с эстрады его, Ковалья, стихи?

— Сможет, если я его научу.

Так же и я отвечу, если какая журналистка заинтересуется моим уменьем.

Три правила попрошайничества следует затвердить назубок и уметь отбарабанить даже спросонья. Первое и главное: никогда не скрывай своей истинной цели; деньги ты берешь на спиртное. Не на цветы любимому учителю, не на такси — привезти на выходные бабушку из приюта, не на похороны лучшего друга. Трогательные благие намерения только вызовут подозрения в жульничестве, тем более что от тебя разит за версту. Второе: точно указывай номер квартиры, в которой ты пьянствуешь, это придает голосу убедительность. Точное число, реальное имя собственное вообще сообщает полуправде привкус полной правды. И наконец, обязательно верни долг, и лучше в срок, ты ведь не совсем потерял совесть.

Я объяснил, как умел, почему терпит фиаско слашавая ложь. А почему поражение ждет скупую на слова правду? Ну кто же даст даже засаленный рубль человеку, если тот скажет, что так мол и так, команда отщепенцев, художников от слова «худо», увязла в многодневном пьянстве, у всех осложнения с милицией и КГБ, не дайте пропасть? Я избрал золотую середину. Так и надо сочинять, чтобы тебе поверили на слово, дали денег вообще и Букера в частности. Как, кстати, его дают? Надо расспросить Лену Якович, чтобы не опростоволоситься на церемонии. Может быть, соискатели стоят в специальной хранине и на глазах у них черные повязки и у победителя ломают шпагу над головой? Премия английская, и вероятен приезд королевы или мятежной принцессы Дианы. Занавесь отклоняется, и ослепительная рука в перстнях и кольцах проскальзывает сквозь складки пунцового бархата. Как в дыму, валюсь я на колени, припадаю к прекрасной ллани, но через миг она уже отнята, и только тяжесть перстня в горсти позволяет верить, что все это — явь!

То похмельное утро застало разношерстное общество в Переделкино на драматурговой даче. До этого я бывал на писательской стороне только однажды, совсем желторотым, когда Игорь Волгин водил университетскую литературную студию на экскурсию на дачи Пастернака и Чуковского.

Теперь все были помятые после вчерашнего, и что-то надо было предпринимать. Без обычного подъема, без веселой сумасшедшинки мы с Аркадием Пахомовым отправились на промысел. Надо сказать, что Аркадий тоже не без способностей к попрошайничеству, но на этом поприще мне он, конечно, не ровня. Ему не хватает гибкости, обаяние его несколько однообразно, он бывает груб с женщинами, а главное, ему не присущ дендизм высокопробного вымогателя. Хотя в вагонном зависании или в уличном кураже я ему в подметки не гожусь. Однажды они возвращались с Володей Сергиенко в метро с празднования Нового года. Аркадий своим примером увлек сонных пассажиров, и, спустя два-три перегона, человек пятьдесят грянули хоровую. Когда Пахомов внезапно вышел на своей остановке, вся ярость отходящих от морока людей обрушилась на Сергиенко.

Не веря в удачу, абы как, мы стали стучаться в писательские дачи. Нам открывали домочадцы, мы, калики перехожие, бубнили свои речевки, и всюду — от ворот поворот. Или они чувствовали нашу похмельную подавленность, или мужья-сочинители приучили домашних жить в поле вымысла, и голыми руками взять их было нельзя. Переругиваясь и валя вину друг на друга, мы зашли на очередной участок. Это оказалась дача Евтушенко. Секретарь, молодой да ранний, объяснил, что хозяин в отъезде, в деньгах отказал и вяло посоветовал зайти на соседний участок, к Межирову. Только на участке Межирова я заметил, что за нами увязалась молодая игручая боксерша в полоску. Она целовалась в прыжке и вообще была уморительна. Из-за угла дачи, толкая перед собой тачку с чем-то таким, показался хозяин. Я к этому поэту всегда относился хорошо, а одно время даже любил. Я не верю, что «Коммунисты, вперед!» — просто паровоз. Все горькое, что можно Межирову сказать, он и сам знает и сказал о себе, а от недавних строчек про американскую негритянскую церковь я завистливо облизнулся:

Все встают, как у нас в СССР говорят,  
и поют, что бояться не надо  
Ничего, ничего...

Мы выдохлись и вкратце объяснили свой приход. Межиров, заикаясь, ответил, что у него есть четвертной, но он последний и десять рублей нужно вернуть сегодня же, а остальные 15 можно и на днях. Мы поблагодарили и поспешили к магазину, отбиваясь от собачьих поцелуев, как две горничные от приставаний гимназиста.

Уже в совершенно другом настроении, воротив десятку, гремя и позвякивая содержимым холщовой сумки, мы пришли в драматургову угодья. Репутация наша была спасена, а веселая боксерша бурей и натиском лобзаний сразу завоевала благорасположение собутыльников.

Пару лет назад я вычитал у Клайва Стейплза Льюиса рассуждение, от которого у меня защемило сердце. Раз бессмертно только вещество любви, то спасение живности целиком зависит от нас. Если мы действительно любим собаку, кошку, хомяка или черепаху, то тем самым мы обессмерчиваем свою животину. Без нашего участия звери обречены. Даже если Льюис ошибся, Бог может прислушаться к этому мнению, одобрить его и внести кое-какие поправки в Свое мироздание, ведь Он — творец, а не догматик. Когда у меня хорошее настроение, мне верится, что дворняга Лорд, колли Мичи, королевский пудель Максим, сен-бернар Том и ты, мой безобидный Чарли, еще запрыгаете вокруг меня, ведь я любил вас! А над нашими головами будут шуметь на небесном ветру липа и клен, посаженные мной с любовью в честь рождения дочери и сына, Саши и Гриши.

Допито было все, принесенное Пахомовым и мною, и продолжения не предвиделось. Гости стали разъезжаться с дачи. На станции я спохватился, что доверчивую собаку собьет электричка или умыкнет подгулявший прохожий, снял ремень, заарканил псину и повез на «Юго-Западную» под родительский кров. То-то я порадовал их: вечный запах перегара, спадающие штаны, чужая собака на ремне, когда в доме своя. Мы растащили сцепившихся сук по разным комнатам, ад сменился затишьем, я завалился в обнимку с боксершей дрыхнуть. Слав на пожарного, я добыл дачный евшушковский телефон и доложил секретарю о случившемся. «Привозите», — строго сказал он. Но теперь в сильной позиции был я и настал мой черед отказывать. Я дал

свой адрес и повесил трубку. Собака заночевала. Наутро я ушел учить шестиклассников уму-разуму, оставив свору на Сашу, младшего брата.

Меня сушило, и я с восхищением слышал, что любимый герой тщедушной Ани Сорокиной — Андрий, ибо дерзнул предпочесть, когда иностранная машина подрулила к дому №121 по Ленинскому проспекту. А минутой позже эффектная незнакомка на ломаном русском втолковывала моему озадаченному брату восьмую заповедь Моисееву.

И я позабыл думать о Евтушенко, только одной застольной байкой стало больше.

В 1983 году, когда все посвященные с нетерпением ждали скорого свершения пророчества Оруэлла-Амальрика, а оно тогда не сбылось; но умер в апреле восемьдесят четвертого дядя Горя, а 9 мая мама, и ее страшная будущая смерть целый год клала клешнями по линолеуму квартиры, и мы успели привыкнуть к мерзкому беспозвоночному, я остепенился, женился, завел ребенка и сторожил стройплощадку на улице Алексея Толстого, у самого впадения ее в Садовое кольцо. Работа была не бей лежачего: ночное дежурство в теплой бытовке и два дня свободных. Всегда можно было подмениться, сторожили свои люди: Алеша Магарик, старый мой друг, и Сережа, новенький, отдохавший от тюрьмы, а Магарик еще только предстояло. Рабочие болгарского подданства облагораживали дореволюционный дом, то бишь советский коммунальный зверинец, для будущих высокопоставленных жильцов, делали из говна конфетку. За забором стройплощадки стояла сравнительно новая девятиэтажка, местожительство Гришина, 1-го секретаря МГК КПСС. Местные старожилы по освещенности окон третьего этажа с важностью сообщали, дома государственный муж или нет. Так лондонцы безошибочно знают по выброшенному над Виндзором флагу, что королева у себя.

Высоким соседством объяснялись периодические визиты на мою стройку трех-четырех одинаковых мальчиков в кожаных пальто.

— Все в порядке? — спрашивали они, без стука входя в бытовку.

— Все спокойно, вы из КГБ? — с деланной наивностью спрашивал я, отрывая глаза от тамиздата.

Не устаивая профана ответом, они уходили.

Выгодное местоположение предполагало дым коромыслом, и частенько зимним, чернильным, московским утром выбирался я, разбуженный телефонным звонком жены, из спального мешка, разостланного на стульях, и торопился убрать пустые бутылки до прихода прораба Соломко, а потом выходил в темноту и хватал пересошим ртом пригоршню снега со штабеля досок.

Этот Соломко утверждал, что если он выйдет на балкон приветствовать шестие женщин, познанных им, и возденет, ликуя, руку, то рука его затечет, а женская толпа не поредет.

Той зимою моя тбилисская приятельница, Мада Розенблюм, приехала в Москву, и я позвал ее на студию Штейнберга. Правда, день занятия совпал с моим дежурством, но сторожка была рукой подать от Дома литераторов, и я простил себе двухчасовую самоволку. Занятия проходили в Дубовой ложе, где некогда был поставлен «на правеж» Галич, а сейчас вовсю шла читка по кругу под началом Аркадия Акимовича, бывшего зэка. Читка закончилась, мнения отзвучали, студийцы потянулись к гардеробу. В вестибюле Мада познакомила меня по случаю со своим приятелем, Владимиром Леоновичем, и я пригласил их в свою сторожку. Вчетвером мы пошли одеваться, четвертым был Егоров, тоже, если не ошибаюсь, Володя. Он писал или переводил, уже не помню; мне он нравился по-человечески. Мы одевались.

Леонович распахнул шубу перед Мадой. Я прихорашивался у большого зеркала и видел в нем Егорова, протягивавшего гардеробщику номерок. В зеркале, рядом с Егоровым, появился Евтушенко, судя по всему, навеселе.

— Поздравь меня, фильм разрешили! — бросил он Леоновичу.

Рукопожатье.

— Как пишем, младое племя? — это уже Егорову, а я наблюдаю в зеркало.

— Да уж не как вы, — с подростковой дерзостью отвечает мой однокашник.

Евгений Александрович выбрасывает руку, Егоров берет эту руку на милицейский залом, Мада с криком виснет на Егорове. Вот и все.

— Фашисты в кожаных пальто, из вас никогда не получатся писатели! — кричит нам в спины Евтушенко.

Мы выходим на улицу и ждем Леоновича, и снег валит на искусственную шубу Мады, на мое пальто черного вельвета; верхней одежды Егорова не помню. Выходит Леонович и говорит:

— После случившегося я не могу воспользоваться вашим приглашением.

Сухо кивает и уходит. А неделю спустя мне звонит Алейников и говорит:

— С переводами тебе, после того, как ты избил Евтушенко, Леонович не поможет.

Я пускаюсь в объяснения, но бросаю их на полпути, вспомнив, что поэту нужна легенда.

Ну и чтобы покончить с этой внезапно разросшейся евтушенианой, доложу, что лет пять назад Лена входит из нашего коммунального коридора на 1-м Новокузнецком в комнату и говорит:

— Тебя какой-то хам к телефону.

Иду. «Да», — говорю. И вальяжный голос сообщает приятные вещи о моих стихах, но коверкает мою злополучную фамилию, и мне достает педантизма Евтушенко поправить. Время от времени я говорю «спасибо» и молчу. Не по гордыне или по неприязни, а по скованности и неумению вести литературные разговоры с незнакомыми людьми. Он спрашивает меня, как поэт поэта, о моих американских впечатлениях. И я отвечаю. Он просит «подослать» ему в Переделкино книжку. И я обещаю. И на этом мы расстаемся. Интересно, подозревает Евгений Александрович, что похититель собак, фашист в кожаном пальто и его неразговорчивый телефонный собеседник — одно лицо?

— Почему хам? — войдя в комнату, спрашиваю я у жены.

— А он не поздоровался и перевернул твою фамилию, — говорит Лена, не оборачиваясь от письменного стола.



Загадочна природа пророчеств и литературных предсказаний. Худшие опасения, ужасные предупреждения Достоевского — сбылись, а Константинополь как был Стамбулом, так Стамбулом и остался. Или мой случай. Писателем я как раз стал. Фашист из меня уже не получился; для этого я слишком не умею обобщать и злость моя ветрена. А вот кожаное пальто у меня, точно, появилось и чуть ли не через неделю после проклятья. Пальто мне купила Лена на свой первый большой гонорар в издательстве «Наука». Ему сносу нет, и я не нарадуюсь на него уже десять лет и велю себя в нем похоронить, а может быть, оставлю Грише. Югославское, очень длинное, старообразное, с меховой подстежкой и воротником и множеством военизированных заклепок, пряжек и ремешков. Стоило семьсот рублей в комиссионном. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи — я люблю эти пошлые мудрости. Скоро я объясню сыну, что не бывает некрасивых женщин — бывает мало водки. А то, что лучше морщина на лице, чем на чулке, я уже давно твержу дочери-кулеме, хотя она и красавица славянского покроя в мою мать.

Но сказанное, особенно в рифму, обязательно сбывается, только непредсказуемым образом, иногда не прямо, а вбок. Я, например, имея в виду, что редко сочиняю стихи, лет двенадцать назад написал о молчании, караулящем мою речь. Но как писал их два-три в год, так и продолжаю писать, а вот ежедневную бытовую речь еще недавно почти утратил, превращался в собаку: понимал, а сказать не мог. Смотрел на буфет, знал смысл и назначение этого предмета, а называть разучился. Или говорил Грише: «Дай мне, пожалуйста...» — и закипал от бессилия. А Гриша, сам бешеный, знаю я эту породу, цедит, волчонок семилетний: «Что дай, папа?» — «Ну эту, — ору, — как ее!» А речь идет о вилке, не о рекогносценции абстрактных идей в сфере семантики. Я говорил по телефону со старинным знакомым или просто с ближайшим другом и боялся ошибиться именем. Вот такое непоэтическое и непоэтичное молчание я себе ненароком накаркал.

Я писал, что люблю лагерные песни, особенно в исполнении Алеши Магарика, — и его сажали в лагерь; я поминал в слабом слякучьем стихе, больше из любви к подробностям, теплоход «Адмирал Нахимов» — и тот тонул. Или права была моя почти первая любовь, Ирина Бороздина, что я волшебник, и все, к чему я прикасаюсь, превращается в дерьмо? Ну хорошо, я, допустим, сволочь. А другие? Ведь каждый стоящий поэт контужен этими потешными, вроде бы, стрельбищами. Выстрел солью, а отдача нешуточная. Каждый знает, что приближаться к речи надо с некоторой опаской, как рекомендуется спереди обходить лошадь и сзади начальство.

Сколько сосредоточенного страха принесла мне эта вера в слова перед операцией, когда днем, а особенно ночью, мысли мои испуганно толпились у понятной черты! Два моих последних стихотворения были о смерти, причем последнее впрямую; раньше за мной такого не водилось.

Все громко тикает. Под спичечные марши  
В одежде лечь поверх постельного белья.  
Ну-ну, без глупостей. Но чувство страха старше  
И долговечнее тебя, душа моя.  
На стуле в пепельнице теплится окурок,  
И в зимнем сумраке мерцают два ключа.  
Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок?  
Жердь, круговерт и твердь: мученье рифмача.  
Нагая женщина тогда встает с постели  
И через голову просторный балахон  
Надепет медленно и обойдет без цели  
Жилище праздное, где память о плохом  
Или совсем плохом. Перед большой разлукой  
Обычай требует ненадолго присесть,  
Присядет и она, не проронив ни звука.  
Отцы, учителя — вот это ад и есть!  
В прозрачной темноте пройдет до самой двери,  
С порога бросит взгляд на жалкую кровать,  
И пальцем странный сон на пыльном секретере  
Запишет, уходя, но слов не разобрать.

— Ты с этим не шути, — предостерегла меня Лена.

Вот. И лежу я в Бурденко. Ночь, две сладенькие таблетки давно растаяли под языком, но сна ни в одном глазу. Душновато, сосед по койке храпит, как рэмовский молодчик из кинофильма «Гибель богов», и я понимаю, что — пат. Эти стихи, рассуждаю я, просто не позволяют мне, если я действительно поэт, выжить. А если они выпустят меня отсюда, значит, никакой я не поэт, и вся моя гиблая, слабая, нехорошая жизнь идет насмарку, потому что единственное ее утешение и оправдание — стихи — получается, пшик, мыльный пузырь. И добро бы я не знал об опасности, не ведал, что творю, выводя слово «смерть»! Все я прекрасно знал и обо всем ведал, и никогда я от стихов пощады не ждал.

А рок, он шутит надо мной свои злодейские шутки. На первую годовщину нашей свадьбы в 1984 году я купил на Арбате в комиссионном взрослое карликовое японское дерево. Одни называют его «денежным», другие «хлебным», а покойный Сережа Савченко называл его почему-то «котлетным». Толстый, чешуйчатый ствол, зеленоватые побеги и овальные глянцевитые листья, как восковые. И оно жило у нас припеваючи, росло, и мы пересаживали его спустя лет шесть, в пластмассовую противноватую корзину для бумаг, с глиняными горшками тогда были трудности. И это семейное деревцо за две недели до того, как мне лечь в больницу, стало загибаться. Уже в больнице я спросил Лену как бы между прочим:

— Что котлетное дерево?

И моя мужественная и правдивая жена ответила: «Погибло». Были еще кое-какие знаменья, в рифму и без. На сорокодневье Саши Сопровского четыре года назад я сидел рядом с Ахмедом Шаззо и, тщеславясь своими неплохими пророческими способностями, обратил его внимание на то, что в строке «Величанский, Сопровский, Гандлевский, Шаззо», судя по всему, верно угадан порядок убывания персонажей.

— Ты следующий! — захохотал Ахмед.

А операцию мне назначили на 13-е число; и это было излишней, плоской, назойливой хохмой рока.

Теперь. Если бы я писал эти злополучные стихи задним числом, а предо мной стоял пюпитр с томограммой и заключением, было бы проще отбояриться от этой рифмованной галиматии. Мол, впечатлительный дурачок-простачок пишет, как калмык поет: вижу забор — пою забор. Но в том-то и дело, что стихи были написаны задолго до диагноза, по-настоящему, случайно... Из-за одного моего с Санчуком забега в ширину.

Два года назад в музее Маяковского намечался вечер памяти Сопровского, и я на правах старейшего друга должен был быть ведущим и сказать слово. Эту последнюю мартовскую каникулярную неделю моя семья и я жили на даче. К часу дня мы с женой поканчивали со стряпней на шведской печи и мытьем посуды. А дети, с боем выдворенные из дому, катались на санках с лесной горы. Чарли мешал детям, тягая их на спуске за шубы и валенки. Или брехал на редких лыжников. Покопчив с домашними хлопотами, я и Лена садились перекурить в чистой, натопленной, солнечной комнате, но в это время, как водится, вваливались, гремя дверьми, дети. Студили дом, следили снегом, жаловались друг на друга и на собаку, роняли мокрые шубы, шапки, платки на пол, сводили на нет результаты моего хозяйственного рвения. Наспех мы докуривали, переодевали засранцев в сухое, а мокрые рейтузы и колготки развешивали на заслонке, открытых створках плиты и стульях, придвинутых к печи. Комната сразу теряла вид, и я мрачнел, а Лена нет. Она и сама бросает вещи на том месте, где в них отпадает надобность, и я скоро одиннадцать лет ем жену поедом. Потом я подымал ор, что на дворе вот-вот стемнеет, а мы еще не встали на лыжи, а жизнь моя и талант загублены по их, троих, милости. Осепенный невидимым занавесом с питисой, поминал Достоевского и Шопенгауэра. И под впечатлением от услышанного дети извлекали, роняя палки и распорки, из соседней холодной комнаты лыжи, вываливали все это хозяйство перед крыльцом в снег со следами выплеснутой спитой заварки и Чарликовой мочи. Минут десять на корточках я застегивал крепления жене, детям, себе, а про себя твердил: «Все не то! Все не то!».

У Семена Файбисовича есть такой диптих, или, как говорит один Семин родственник, двухтих: ванная и уборная в разрезе. В ванной самозабвенно, перед приемом гостей прихорашивается жена, первая, не Варя. А в уборной, в спущенных, как полагается, штанах сидит на унитазах сам Семен и прячет лицо в ладонях. Все не то!

А что для меня то? Пить без просыпу? Или, не выдержав этого гомеопатического режима — два-три стихотворения в год, — рифмовать через силу, чтоб, когда приспичит, разминать и подтираться? Господи, что же то? Где оно? Так я роптал, мудря над лыжными креплениями.

Всё — то! Мокрая одежонка, захлаившая только что уборную комнату, — то! Муцацкие крепления — то! Два стихотворения в год — то! За какие-то заслуги тебе больше? И опухоль мозга, может быть, главное за всю мою гиблую, слабую, нехорошую жизнь — то! А две опухоли и аневризма в мозгу пятилетней Алины из угловой палаты — тоже то?.. Фиг ли ты замужевался!

Наконец мы выходили цепочкой на лыжню и катались часа полтора, а дома сытно ели. Смеркалось. Наступало самое мучительное на нашей даче время: чем заняться до сна, если теплая брусовая комната всего одна? Читать, учить английский — дети не дают. Занять их рисованием или чтением можно максимум на час, потом они начинают беситься, прыгать с кровати на кровать, ездить верхом на собаке. Выманить их на улицу, в темноту и холод — дохлый номер. Вот тогда, урывками и огрызаясь на домашних, я писал очерк о Саше, и, кажется, очерк мне удался.

Утром 24 марта девяносто второго года я оставил семейство в Тучково и потянулся в Москву, чтобы поспеть заметку перепечатать и не опоздать на Сашин вечер. Путь этот и при самом удачном раскладе забирает три с половиной часа. Сперва надо пройти весь поселок насквозь по единственной поселковой улице. Обычное казарменное убожество садовых шестисоточных товариществ здесь не так ранит глаз: спасает рельеф. Поросшие еловым бором холмы справа и слева подступают почти вплотную к дачам и не позволяют поселку безобразно расплзтись. Он вынужден повторять изгибы длинного узкого оврага, по дну которо-

го петляет холодная даже в июле Романиха, впадающая километром ниже в Москву-реку. Москва-река в этих местах не похожа на саму себя: на промышленную грязную реку в кранах, баржах, бакенах и речных трамваях. Здесь, в верховьях, она неширока, мелка, прозрачна, холодна. К августу, как и положено сельским рекам, она зацветает, и купальщику придется выбираться с мостков на стремнину, брезгливо разводя водоросли руками. Но долго в реке не просидишь: холодно. Плавать бесполезно: течение подхватывает и несет со скоростью велосипеда. Зато хорошо плыть на байдарке, и часто летом мы с детьми палимся на эти утлые лодки с подвесного моста.

В детстве здесь жил Андрей Тарковский. Сюда же он выезжал на съемки «Зеркала». Солоницын с Тереховой поминают Игнатьево и Томшино. А я туда запросто догуливаю с Чарли. Словом, тарковщины вокруг хоть отбавляй. С нарастающим шумом гнется под ветром орешник, открывая зеленый аквариумный полумрак елового леса. Так и ждешь, что вот-вот грянет с небес Перголези и прочтут письмо Пушкина к Чаадаеву о судьбе России. В молодости я был без ума от этих кинокарасот и смотрел «Зеркало» раз восемь. Но в прошлом году фильм крутили по телевидению, и было мне неловко и скучновато.

Выйдя из железных ворот поселка, забираем налево в длинную обледеленую гору. Дорогу проложили при мне, но делали тяп-ляп, насыпали гравия, заасфальтировали только на треть, и дожди в первый же год намыли рытвины и обрушили обочины. Но красиво. Дальше начинается село Поречье, и мы обычно срезаем для скорости еле различимым проходом между огородами и малюсенькими самодельными подсобками-конурами и выходим прямо к магазину-стекляшке и, оставляя его по правую руку, метров через сто пятьдесят оказываемся на автобусной остановке. Здесь надо уповать на удачу и приблизительные расчеты: местная шпана выбила расписание из железной рамы на телеграфном столбе.

Куря, поглядывая то на часы, то на поворот шоссе в ожидании автобуса, я радовался удачному очерку про Сопровского, припоминал лучшие фразы и прикидывал, что вечером пьянки не миновать. И как ей не быть? Соберутся друзья покойного, бо-

гате́й Кенже́ев — в Москве, и квартира наша пуста, гуди хоть до утра. А главное, что теперь я могу это делать, не опасаясь семейных сцен. Счастливая идея дать письменную клятву пришла мне в голову только на днях. Зачем я не сделал этого десять лет назад? Не было бы этих уходов, приходов, выливания спиртного в унитаз, лукавых обещаний. Казалось бы, проще простого: «Я, Гандлевский Сергей Маркович, клянусь, что в случае первого же запоя — 3 (три) дня, иду к В.А.Хевронскому и подшиваюсь. 15 марта 1992 года. Подпись». Виктору Абрамовичу я верю, он знает, с чем дело имеет. В течение тридцати лет Хевронский выпивал по литру водки ежедневно и горя не знал, пока родные не поймали его на балконе, совмещающего прицел и мушку охотничьего ружья с участковым милиционером, бредущим по двору. С тех пор Виктор Абрамович практикует на дому. Теперь и Лене покойно, и я могу пить два с половиной дня с гордо поднятой головой. А к исходу третьего дня я это дело благополучно сверну. Значит, сегодня я пью, завтра отсыпаюсь, поправляюсь, убираю квартиру к приезду семьи и к Гришиному дню рождения, а вечером поездом 19.25 еду на дачу — и все довольны.

На электричку до перерыва я успел, через полтора часа был на Белорусском вокзале, семь минут — метро до «Новокузнецкой». Дома я принял душ, выпил кофе с черствым хлебом, отступал за два часа эссе — снова понравилось, и в лучшем настроении отправился на Маяковку.

Кое-какие накладки при начале вечера были. Какой-то обтерханный местный администратор успел-таки по общему недосмотру первым прорваться к микрофону под предлогом того, что он «к сожалению, не был знаком с Сопровским», и прочесть что-то хреново зарифмованное, зато длинное и смелое с опозданием лет на десять, от чего бы покойного стошнило немедленно. По счастью к тому времени я уже хлебнул из горла в фойе кенжеевской огненной воды, и, осмелев, взял бразды правления в свои руки. И потом выступали уже неслучайные люди: Веденяпин, Санчук, Кенжеев, Ванханен, Сергиенко, Нерлер. Правда, некоторую сумятицу в течение вечера вносил громогласный поддатый Алексей Федорович, но это было даже в духе покойного, а может быть, к тому времени мне все уже нравилось, ведь мы с

Кенжеевым сидели рядом и втихаря по очереди уговорили 0,7 чего-то очень крепкого. После вечера в фойе с полчаса, не меньше, ушло на неизбежную топотню, приветствия и переговоры с оглядкой: кому ехать, куда, и кто знает дорогу. Наконец разобрались. Гордый Санчук со своими вильнюсскими приятелями поехал сам по себе с заходом за выпивкой. Кенжеев отправился со второй партней, с тем же заходом. А женщины поехали на Миле и Пете, прихватив меня показывать дорогу. По пути завернули в ночной магазин, и мы с Петей вышли из машины и купили сколько-то чекушек водки по 0,33.

Господи, какая благодать без этой вопиющей советской власти! Будь только платежеспособным и обороноспособным — и жить можно! Помню смерть отца, как с похабной телегой из загса я порыл в универсам в Ясенево в стол заказов, обслуживающий свадьбы и похороны Брежневского района. Водки давали издевательски мало, хоть из пипетки капай. Как я канючил и унижался перед тамошним заведующим. Я так боялся ударить в грязь лицом, мне так хотелось, чтобы все было, как при отце — по-людски и без сиротства — на этих многолюдных поминках. И я был в отчаянии, потому что на загсовую справку в универсаме уже вlepили штампель, что клиент отоварен, и теперь ее можно было благополучно скатать в трубку и засунуть куда следует! И в последнюю минуту — счастлива моя звезда! — позвонил теть-благодетель и сказал, что у них в Строгино завтра, по слухам, будут давать, но одну на одну и запись с утра. И я собрал у себя и по знакомым двадцать отборных не винтовых, на всякий пожарный, водочных бутылок, уложил их, бережно прокладывая ряды газетой, в рюкзак и чем свет, с непотребным звоном, на первом метро дунул от себя на «Шукинскую», потом автобусом до конечной. Отыскал пужный универсам, и записали мне химическим карандашом на запястье мой номер: 372. Больше всего на свете я боялся, что начнут по паспорту проверять район, — раздавались и такие решительные предложения. Но пронесло. И много часов на декабрьской мерзости многосотенная мокрая очередь топталась, бормотала, строила жалкие предположения, боялась хулиганского палета, что оттеснят от окошка и кому-то не хватит, занесивала перед мурлом-продавцом, княжившим и ба-



бачившим. С каким вороватым, блудливым, чисто советским счастьем от шельмовской удачи пер я этот рюкзак домой!

И жить можно, как подумашь, что вонючая советская власть накрылась медным тазом!

Приехали ко мне, подтянулись остальные. Раздвинули стол, выставили трофеи, разобрались с рюмками, а тарелки оказались ни к чему. Это кенжеевский стиль застолья: расщедриться на два-три десятка тысяч на спиртное в ларьке и поспуститься купить два-три батона. С изумлением я обнаружил за столом проходимца администратора. Во порода! Все стали беспорядочно пить, шуметь и нравиться друг другу.

Многих я не видел уже несколько лет. Эта компания держалась на Саше, но теперь я сторонюсь ее, и меня принял другой круг. Пьют там не меньше, но нет той атмосферы смогистской кичливости, бессвязного шума, спонтанного пения и чтения стихов. Новые мои друзья суше, помнят свой возраст; застолье опрятней и упорядоченней. Во всяком случае тема разговора без криков и обид может продержаться на весу час, а то и больше. С некоторых пор мне такие посиделки как-то больше по вкусу.

Но пока я умиленным взором обвожу лица старых в прямом и переносном смысле товарищей, себя вижу в зеркале боковым зрением... И какие же мы все потасканные, испытые, лысоватые, седоватые, лысовато-седоватые, беззубые! И хочется встать, крепкая и расплескивая кастан, как говорил Пахомов в детстве, и сказать, размазывая слезы по доброму лицу: «Дорогие мои! Геронтолога на нас нет!» Но исполнению тоста мешают загадочные знаки, которые мне делает глазами через стол Аркадий. Я слежу за направлением его взгляда и вижу, что, воспользовавшись всеобщим шумным умилением, администратор невозмутимо, как советский разведчик (раз — и ничего особенного, два — а что, собственно, случилось?), тихой сапой составляет наши с Петей чекушки по 0,33 в свой предусмотрительно отверстый портфель. И с этим надо что-то делать! И правдами и неправдами мы с Аркадием незваного гостя сплавляем. Даже не из-за того, что он графоман и вор, а за то, что он такой противный. А когда входим из коридора в комнату, видим, что за эти 5 — 10 минут нашего неучастия народ дошел до кондиции. Кто поет, кто выкрикивает

стихи, кто заводит музыку и объявляет белый танец, а Володя Сергиенко загнал несчастного Бахыта в дальний угол и режет Кенжееву правду-матку про его злополучные романы. И я пью из случайного стакана, чтобы догнать остальных, но на старые дрожжи перегоняю разом и иду в детскую, задевая в темноте головой кольца и трапедии, и ложусь в чем был на нижнюю дочернюю кровать, и прошу Наташу Мазо посидеть со мной, а то мне одиноко, и просыпаюсь в ужасе от сознания, что все пропустил и все разошлись по домам. Но с облегчением слышу голоса в кухне за стеной. Выхожу и вижу: Маша Чемерисская и Витя Санчук спорят о Кропоткине, а Алексей Федорович мешает спорщикам, борясь со сном и кренясь на табурете. Но выпить нечего. Я бросаюсь к жениной заначке в письменном столе в савченковской железной коробочке из-под гавайских сигар. Ура! Затурканная Лена забыла спрятать деньги. И отважный Витя уходит в похмельную темноту в огромном распахнутом пальто.

Пока он там мартовской ночью ищет в пустом Замоскворецье водку, можно скоротать время и малость посплетничать на Витин счет, тем более что я один курю и маюсь на кухне, а Маша с Алексеем Федоровичем ушли спать в детскую.

Мы познакомились с Витей году в восемьдесят втором на студии Штейнберга, куда Сопровский и я нагрянули снежным вечером и произвели известное впечатление. Само собой получалось, что надо бы это общее воодушевление обмыть, и все скинулись, а мы с Сопровским вызвались сходить, не доверяя молодняку такого деликатного дела. Когда мы вернулись с обильным уловом и второй раз потрясли студийцев-переводчиков моцартовским началом, молодой человек, лохматый, костлявый, с мученической веселой улыбкой осклабился с одобрением: «Поэтично и впрямь!» Это и был Витя Санчук.

Снимал я тогда на станции Переделкино в поселке Чоботы у старика Бейдера две комнаты и кухню на паях с Борей Дубовенко. Хотя он туда почти не показывался и, догадываюсь, по доброте душевной и купеческой широте просто облегчил мне таким образом оплату. Приходила Лена, когда я звонил ей от аптеки или со станции. Оставляла, наученная мной, мне на утро в потайных склянках, подметала, готовила капусту под яйцом, сказа-

ла, что беременна. И когда ярким зимним утром, ликующим на белом кафеле голландки, лежа в постели, я закуривал после второй, и отступал ужас, отпускала тошнота, улегалось сердцебиение — и только шаркал веник или шипела сковорода на кухне, думал я: «Из твоей замечательной жизни сам видишь, что получилось. Но вот хорошая одинокая девушка любит тебя и носит от тебя под сердцем. Больная обреченная твоя мать из года в год спит и видит внучку. 30 лет. Порядочно. Не цепляйся за себя, Сережа, не мелочись: стыдно будет». Мама. В Переделкине есть перекресток. На закате июльского дня, незадолго до вечной разлуки ты в Москву провожала меня. Проводила и в спину глядела. Я и сам обернулся не раз. А когда я свернул к ресторану, ты, по счастью, исчезла из глаз. Приезжай наконец, электричка! И уеду — была не была — в Сан-Франциско, Марсель, Йокогаму, чтобы жалость с ума не свела. Романс как романс.

Вот, и продираю я как-то глаза, отбиваюсь от поцелуев сенбернара и пуделя, а Лена говорит:

— Утром заходил незнакомый Витя, ты спал, он попил на кухне пиво и заторопился на электричку.

Ну незадача: и пива жалко, и Вити жалко! Но спустя несколько дней Ленин незнакомец снова появился, и точно, оказался тем самым Витей. Мы взяли какой-то дряни на станции и говорили, и все было на удивление впопад, и он, оскалившись от застенчивости и истязая угол клеенки, читал очень талантливые стихи. И словами «дерьмо, по-моему» чтение закончил. И это была не дружба, а страсть. Она и разделила участь страсти — полное со временем успокоение.

Я понял, как он мне дорог, когда он позвонил, очередной раз влюбившись, спросил, верю ли я в Бога, и просил помолиться за него. Или когда он шел против косога снега от станции Мичуринец, а я стоял у окна нашего дома в Федосьине и следил за его приближением.

Лена умеет ревновать меня даже к неодушевленным предметам, а тут Витина вырожденческая — «пажеская», по замечанию Пригова, — красота. К обожанию подключился Сопровский, и мы с ним даже опустили до того, что заочно слегка очерняли друг друга перед предметом совместного увлечения. И

все это тройственное мужское чистое головокружение развеялось с появлением четвертого — Михаила Сергеевича Горбачева, Генерального секретаря ЦК КПСС.

Витя, сдается, не мог мне простить моих невинных официальных успехов, а Саше — невинных менее официальных. Речь идет не об одноклеточной зависти. Витя разочаровался во мне, как Бетховен в Наполеоне: и он обыкновенный человек! Встречались мы все реже и гаже. При моей мнительности загнать меня намеками в виноватость — проще простого. И я уныло вертелся перед всеми отражающими поверхностями: может, я и вправду литературная шпана? Кончилось все смехотворно: дуэлью.

Да, Лева, да, дорогой, и не надо морщиться. Мы меняемся нательными крестами, деремся, как шуты, на дуэли, а то еще — можно наблевать в чужом коридоре, а с утра хватается наглости витийствовать и вещать, словом, безвкусицы — хоть отбавляй. Хорошо, конечно, когда мозги позволяют пукнуть вслух, если плащ бóльно черен, а бледность чрезмерна. Но избыток ума тут заказан, рефлексия прописана в шалящих дозах. Но и ваше занятие не без изъянца. Пусть мы смешны, но мы имеем мужество быть таковыми, а для вас это — нож острый. Вам приходится всякий раз, прежде чем открыть рот, забегать перед собой, чтобы успеть себя высмеять раньше, чем рассмеются другие. Разве это не утомительно, разве это не зависимость? Занятно: нынешние новаторы в искусстве — паиньки в быту, а люди, плюющие на правила дорожного движения, переходя Стромынку или Большую Черемушкинскую, чтут литературный светфор! Тот же Витя рассказывал, как идете вы с ним ночью по Мозжинке и ты полдороги растерянно комкаешь газету и бубнишь: «Куда мне ее деть? Где тут у вас урна?» — «Да выбрось ты ее куда попало, ты же авангардист!» — не выдержал Витя. Или другая Витина история. После бучи в клубе «Поэзия», праведной, но бессмысленной, когда Сопровский, что твой Дантон, клеймил Пригова, журчат Пригов с Санчуком бок о бок за гаражом. И Пригов, подрагивая то ли от уязвленного самолюбия, то ли от долгожданного мочеиспускания, жалуется:

— Александр Александрович дважды назвал меня лжецом. За это в былые времена стрелялись.

— Вот и стрелялись бы, — говорит ему Витя, застегиваясь.

Так что я во всеуслышание и с расстановкой, что передается на письме разрядкой, заявляю: вы не ослышались — мы с Санчуком дрались на дуэли.

Был у нас — у Гриши Дашевского, у Вити и у меня с Леной — хороший товарищ, Сережа Савченко, добрый человек и умница. Служил в ФИАНе, делал слайд-фильмы, ходил в консерваторию, на кинопросмотры и литературные вечера. Писал стихи под раннего Пастернака, но показывал их изредка, потому что больше своих увлекался чужими. В горы ездил один или с родителями, был то ли буддистом, то ли индуистом, мяса не ел, отлично готовил вегетарианские блюда, чем-то занимался антирежимным, но помалкивал, носил большую бороду и волосы до плеч и круглый год ходил в рубашке и в кедах на босу ногу, а в помещении и вовсе разувался. Считал Венедикта Ерофеева гением, хорошо умел выслушивать других, а на расспросы о своих неприятностях отвечал цитатами из «Москва — Петушки» или матерными прибаутками с немецким акцентом.

Придешь домой, а Сережа уже там — забавляется с детьми. Или уйти надо срочно, а он остается. Был он не моим другом и не Лениным, а, что называется, «друг семьи». Легкий был гость, необременительный, и не гость даже по ощущению. Уходил он домой поздно, впритык к последнему поезду метро, и обычно я спускался с ним за компанию — опростать мусорное ведро. Мы расставались, я курил и смотрел ему вслед, как он бежит — в кедах и в курточке в любую погоду, с импортным, бывшим тогда внове, рюкзачком за спиной. Потряхивает длинными волосами и трусит 1-м Новокузнецким по направлению к Пятницкой.

В консерватории он познакомился с меломаном-иностранцем, а тот возьми да окажись голландским послом. И так Сережу полюбили посол и его жена, что за символическую сумму продали ему фотокамеру «Канон». Обычная сдержанность изменила Сереже. Он не умел скрыть восторга и несколько раз, помню, разбирал камеру, демонстрируя моему равнодушному взору ее совершенства. 23 октября 1989 года с обновой на боку и, как всегда, за полночь он возвращался после показа своего

слайдфильма из музея Глинки и был сбит легковым автомобилем напротив своего подъезда. Смерть наступила мгновенно.

Мать Савченко позвонила нам вечером следующего дня. Меня не было дома, к телефону подошла Лена.

— Сережа погиб, это его мама, — донеслось из трубки.

В первую секунду Лена поняла, что погиб я, а звонит моя мать, но тотчас взяла себя в руки, сообразив, что моей матери пять лет как нет в живых.

Я застал Лену плачущей, выслушал, не раздеваясь, страшную новость и пешком пошел на Ленинский проспект, чтобы передать ее Вите, с которым как раз у нас был самый разгар обоюдной неприязни. Дорогой я плакал и сморкался по-татарски, потому что забыл дома носовой платок.

С тех пор каждое 23 октября можно без звонка зайти часов в 6 — 7 вечера на Кунцевскую к родителям Савченко, Инне Александровне и Марату Мефольевичу, и застать накрытые столы и человек двадцать гостей: сверстников Сережи и людей старшего поколения, знавших его еще мальчиком. Запомнить легко: 23 сентября умерла Мюда, 21 октября — день рождения Сопровского, 23 октября погиб Савченко, 21 ноября родилась моя мать, 21 декабря родился я, а 23 числа того же месяца погиб Сопровский.

За стеклами книжных полок много Сережиных фотографий: Сережа подростком с отцом в горах, Сережа — уже такой, каким я его знал, — кашеварит, скорчив рожу, в памирской экспедиции, последний увеличенный портрет Сережи — на нем он неожиданно серьезен, даже мрачен. Столы будут ломиться. После первой рюмки, выпитой не чокаясь, воцаряется обычный застольный галдеж. Марат Мефольевич аккуратно провожает гостей партиями до метро по мере их ухода.

От Сережи в нашем доме осталась коробка из-под сигар, когда-то ее, полную, он привез мне в подарок из Германии; теперь там хранятся деньги. Еще осталась позаимствованная у него привычка вставать по утрам под холодный душ, только обязательно с головой, а то теряется какая-то там прана.

Инна Александровна и Марат Мефодьевич держатся, устают, болеют. Инна Александровна продолжает работать, а Марат Мефодьевич вышел на пенсию, у него пошаливает сердце. Прошлым летом Савченки провели отпуск Инны Александровны в горах Кабардино-Балкарии на турбазе Академии наук. Они верны пристрастиям своей молодости: грузинскому и польскому кинематографу, Слуцкому и Коржавину. Посещают культурный центр при Польском посольстве и Музей кино. Следят за книжными новинками и периодикой. Музыкальные вечера.

На поминальных савченковских сборищах я, слава Богу, понастоящему ни разу не напивался. Но тогда, в девяностом году, я был без жены и, видимо, перебрал, так как после поминанья поехал не домой, а вместе с Витей Сапчуком, Аней Рязанской и Машей Ушинской к Маше — добавлять. Ехали мы на такси и ссадили Гришу Дашевского по дороге на улице Гарibaldi. У подъезда Машинного дома Витя вскользь бросил, что я мог бы и не ездить. Это было уже чересчур: во-первых, потому что Маша пригласила меня к себе, а во-вторых, я только что из последних денег расплатился с таксистом и на метро не успевал. Я напрягся.

Расположились на кухне. Стадии опьянения присутствовавших не совпадали, вернее женщины вообще были трезвы, и ни разговора, ни веселья не получалось. В кухонной бестолочи Витя сказал мне еще какую-то гадость, и с этим что-то надо было делать. По пьяному наитию я попросил Сапчука выйти со мной в соседнюю комнату и там ударил его ладонью по щеке. Так я, по моим соображениям, разом перевесил все его предыдущие оскорбления, и пусть он теперь сводит концы с концами. С облегчением я вернулся на кухню и присоединился к женщинам. Спустя какое-то время Витя, бледный, подошел ко мне и сказал, что расценивает мою выходку как вызов.

— Достань оружие, у меня нет.

— А у меня есть, — ответил Витя.

Женщины приняла в выборе оружия и прочих подробностях живейшее участие и обнаружили знание предмета. Часа в два ночи мы впятером отправились к Вите домой неподалеку за орудием убийства. Во дворе я и женщины судачили о случившемся,

пока Витя поднялся к себе и вернулся с оттянутым карманом. Это оказалось огромным оперным револьвером. Эфемерное начинание обростало плотью, и женщины пытались нас уговорить. Но Санчук вошел во вкус и предложил бросить жребий и кому выпадет — стреляться, чтобы было наверняка. Я отказался, у меня хороший нюх на декадентщину. После часового барахтанья в осенней дворовой мгле нас растащили, и я дошел до дома в полном беспомоществе.

Я горжусь своим автопилотом, умением не помнить ничего и производить впечатление трезвого. Однажды я обнаружил себя в аэропорту Набережных Челнов, где мне и впрямь надлежало быть в этот день и час, и встречавшая меня Инна Лимонова сказала:

— По-моему, тебе следует поесть.

Уплетая у нее дома домашние пельмени, я все силился вспомнить, как я оказался столь обязательным, — и не мог. Последнее, что приходило мне на память, это как я сижу на полу в совершенно пустой квартире на 1-м Новокузнецком, потягиваю из горлышка тещин подарочный «One man show», а Денис Новиков склонился надо мной и ласково, точно ребенка, уговаривает ехать с ним куда-то, а я только отрицательно кручу головой. Значит, я, как лунатик, встал в срок на задние конечности, оделся, взял паспорт, не забыл билеты, добрался до Павелецкого вокзала, сел в нужную электричку, прошел в Домодедове паспортный контроль...

Нет, что ни говори, кое-какие хорошие качества у меня есть, например чистоплотность. Третью дня в общей сложности я провожу в душе. Правда, Юра Кублановский считал, что это я делаю в компенсацию внутренней грязи, и что его бы воля, он бы ввел ограничения на воду. Не знаю, ему виднее. Кублановский — удобный объект для злословья. В один из своих приездов из Германии он угощал Сопровского чем-то импортным в пельменной-стояке на Тверской и спросил того, разливая, почему Саша не печатается.

— Да задницы неохота лизать, — ответил мой покойный товарищ.

— Но ведь это совершенно другие люди, — сказал Юра.



Стало быть, дошел я, как Голем, с Ленинского в Замоскворечье и сплю себе. Будит меня утром Лена и говорит:

— Тебя к телефону Сопровский, требовал разбудить.

— Але, — говорю, — доброе утро, будь оно все проклято, Санечка.

А Саша сухо и с важностью, подобающей случаю, сообщает, что только что звонил ему Витя и просил быть нашим секундантом и нет ли у меня, осведомляется Сопровский, возражений. А если нет, то он просит меня быть в 13.00 у Нескучного сада. Боже мой! И я смутно вспоминаю вчерашние обстоятельства. Какая дуэль, когда у меня зуб на зуб не попадает! Со стороны я смахивал, верно, на гоголевского Чертокуцкого в то злополучное утро. Но я напомнил себе слова Атоса: «Бесчестие страшнее смерти», сказал, что буду, и с отвращением полез под холодный душ. От завтрака я отказался, оделся получше и поостроже, чувствуя какую-то вопиющую опереточность всего предстоящего. Вышел я загодя, надо было по дороге на поединок заглянуть по соседству, в один естественнонаучный академический институт.

Моя старинная приятельница, Тамара Иванова, служит там, и, если хорошенько попросить, то она сжалится и отольет немного спирту от какой-нибудь доисторической букашки, а то какой из меня ворошиловский стрелок? Такими руками только солить да перчить, как говаривал Володя Головкин. Тамара была в тот день добра и понятлива, и уже через полчаса я стоял у Нескучного сада перед торжественным Сопровским. Витя опаздывал, как Онегин к мельнице, а я беспокоился за кожаное пальто: в мои планы никак не входило оставлять дорогую обнову продырявленной и обгаренной. Наконец с извинениями за задержку появился мой супостат. Обожавший всякий благородный ритуал Сопровский отвел Санчука в сторону, потом подвел ко мне и спросил нас, не согласимся ли мы на примирение. Но каждый из бретеров слишком глубоко залез в свою бутылку, и неизбежно наступила следующая стадия. Мы прошли в глубь парка, и ликующий Сопровский принялся сладострастно шагами отмерять дистанцию. Потом проинструктировал противников. Бросили жребий. Стрелять первым выпало мне.

Погода располагала к чему-то такому. Был яркий осенний день, небо синее, жухлая листва шуршала под ногами, мамыши толкали коляски, перекликались галки. Я снял пальто, сложил его на сухой бугор, подошел к сучку, обозначавшему барьер, и выстрелил вверх. Мамаши и галки шарахнулись. Очередь была за Витей. Но педант Санчук вспомнил, что раз я был зачинщиком, то не имею права палить в воздух. Зарядили снова. Дулом вниз я понес эту неподъемную хреновину к своему барьеру. Револьвер висел на моем указательном пальце и выстрелил под собственной тяжестью. Палая листва взметнулась рядом с моим ботинком, я чудом не прострелил себе ногу. Витя решительно отобрал у меня оружие, сунул его в карман и ушел в своем огромном пальто.

— Он не попрощался с секундантом, — сказал Сопровский.

Потом? Что потом... Я снова попал в безвыходную, как казалось, ситуацию с жильем, когда Лена опрометчиво сообщила соседу-милиционеру, что он — животное. Но со временем все само разрешилось, и вот уже больше двух лет у нас своя двухкомнатная в соседнем переулке.

Сопровский погиб под колесами автомобиля 23 декабря 1990 года напротив метро «Щербаковская», после того как мы пили спирт у Пети Образцова, говорили о смерти, а ближе к полночи смеха ради приударяли за спутницей Сережи, Петиного сводного брата. Мы еще вставали перед ней на колени и восклицали наперебой: «Будь я помоложе и посвободней!»

Витя Санчук выносил из-под завалов трупы в Ленинакане после землетрясения. Заходил пьяный вместе со Слоном еще к нам на 1-й Новокузнецкий и сказал, что Пушкин не дотягивает до Камюэнса. Удачно разменял дедовскую огромную квартиру на двух- и трехкомнатную в том же доме. Принимал участие в вильнюсских январских событиях. На очередной годовщине савченковской смерти смотрел, не мигая, минут десять на мою Лену, после чего произнес с угрозой, что она похожа на фаюмский портрет. Назвал мои стихи говном, после чего добавил: «Извини, конечно». Рассказывал, что случилось с ним в поезде «Вологда — Москва», но просил не распространяться. Мы видимся изредка и вроде бы ладим.

Никак он воротился.

— Что утешительного, Витя?

И Витя достает из косого несобъятного пальто бутылку водки и ставит ее, взяв за горлышко, медленно и аккуратно, на загаженный кухонный стол между переполненных пепельниц и невымытых чашек. А Маша и Алексей Федорович спят. К рассвету мы почему-то обсуждаем бомбежку Триполи и нечаянное убийство ребенка и решаем, что нам, воспитанным на Достоевском, нужна бóльшая точность попадания. Витя вспоминает, что дома на Ленинском у него прорва денег, и мы уходим крадучись, чтобы не будить гостей.

Мы встречаемся с Ксенией, едим под шампанское что-то острое в ресторане на «Парке культуры», куда-то едем, потом еще куда-то. От недосыпа и выпитого мы по очереди задремываем то в гостях, то в транспорте, но среди дня одновременно вскидываемся, что нам позарез надо видеть Эдика Видовзорова.

Эдик Видовзоров — наш товарищ, невозвращенец из Гватемалы. С Эдиком вдвоем мы работали в экспедиции на Камчатке, и все три месяца он учил английский по моему Бонку. Его отец был большой шишкой, но честным человеком, впрочем запойным пьяницей. Как-то он отдал Косыгину два миллиона долларов, которыми его отблагодарили западные компаньоны за незаконную сделку — на пользу Советскому Союзу, в ущерб одной иностранной державе. За это он получил орден Трудового Красного Знамени. Запой его купировали в Кремлевской больнице. Но когда он состарился и отошел от дел, ему пришлось умереть в затрапезной палате на пятнадцать человек. Эдик смолоду, с первой школьной посадки как-то тяготился советским подданством. Для этого ему и понадобился Бонк. Одно время я работал на него: обтачивал на даче в противогазе брелоки из эпоксидной смолы — черепа и кукиши. Эдик платил мне 35 копеек старыми за штуку. Этих денег хватило на обстановку двух смежных комнат в коммунальной квартире, нашего с Леной первого своего жилья. Пять лет назад я увидел знакомый кукиш на лотке уличного торговца на улице Бен-Иегуда в Иерусалиме, и у меня захолонуло сердце: жизнь коротка, искусство вечно.

Будь у меня внешность и повадки Эдика, я бы не мучил себя зубрежкой чужих языков, а просто-напросто одним прекрасным утром подгреб к железным ржавым воротам Голливуда, выдохнул дым «Галуза» без фильтра небритому вохровцу в его пороссячи глазки и процедил бы:

— Фильтруй базар, командир. Где у вас тут главный? Проводил меня к нему, считаю до десяти. Уже одиннадцать.

Но Эдик предпочитает искать счастье на проторенных путях: охотиться на аллигаторов, ввозить через границу фальшивые доллары. Но говорят, что по сравнению с торговлей героином в столицах Европы, это все — семечки.

И вот этот драгоценный Эдик сидит перед нами с Витей у меня на кухне как живой и заставил весь стол немецким пивом. Но напиваться не хочет: спешит по своим неотложным делам, гватемалец, и, уходя, оставляет на том же столе изрядную сумму в рублях, раз уж мы такие писатели. Мы малость спим где кого застигло, а проснувшись, берем еще, для силы характера. А когда кончается и это и начинает смеркаться внутри и снаружи, меня осеняет, что Саша Борисов несколько месяцев назад развязал из-за зубной боли и отлучки Оли в Борисоглебск. И тогда он приехал ко мне ночью без шапки на такси и на двое суток запрудил размеренное течение семейных будней, а значит, не все так безнадежно. Я звоню ему, напоминаю прискорбный случай и говорю, что долг платежом красен, справедливо, так ведь?

— Справедливо, — безучастно отвечает Саша.

Борисов — особая история, но сейчас мне не до сантиментов, и мы с Витей встречаемся с Сашей у «Академической».

— Одну или две? — спрашивает он у ларька.

У Саши дома приветливая красотка Оля кормит двух бессмысленных монстров, а непьющий Саша включает «Страсти по Иоанну» и садится в плетеное кресло-качалку. Он стихийный буддист, и у него хорошая выдержка. Расковыряв деликатесы на тарелках, мы прихватываем бутылки и срываемся с места, но отвозит нас невозмутимый Саша на своей машине. По дороге мы забываем, чья это машина и кто нас везет, и громким шепотом обсуждаем на заднем сиденье, из каких денег платить леваку.

Сознание возвращается к нам у меня на кухне. Мы снова вдвоем; початая бутылка водки обнадеживает. Мы возобновляем прерванную по независящим от нас обстоятельствам беседу, и на кухню входит Лена с детьми.

— Что так рано? — спрашиваю я.

— Почему же рано? — говорит Лена и наливает себе водки. — Тебя не было четыре дня, завтра Саше в школу.

Похмелье пятого дня. Тикает все: самозванные ходики, будильники, напольные часы и ручные — несметны, как насекомые. По стенке пробираюсь в галюнь, сую над унитазом два пальца в рот, но тщетно, яд прижился. «Ад какой-то», — бормочу я, принимая горизонтальное положение на тахте рядом с женой. Я в одежде, но раздеться сейчас не получится. Половодье первозданного страха карабкается на ложе. Душа не поддается на уговоры, хотя ей не впервой и раньше сходило с рук. Лифта в доме нет, но явственно слышно, как останавливается кабина на нашем этаже и кто-то у самых дверей, кряхтя, сбивает снег с буроков. Вот это смерть и есть, допрыгался, придурок. Теперь пиши пропало: шаткий рассудок ошибкой набрел на строку с размером и она, неотвязная, будет бурить череп, визжать одна и та же в мозгу, как фреза, до скончания похмельных мук. Жена встает разводить детей по их учреждениям. Я дожидаясь отхода домашних и снова впустую давлюсь над унитазом.

Стоило пить пять дней и вынашивать полтора года, чтобы получилось похоже на второй терцет сонета из «Дара»!

«Когда б вы знали, из какого сора...» — одни из самых знаменитых и фальшивых строчек в русской поэзии. Местоимение подкачало. Предполагается, что косная, но заинтригованная толпа напирает на поэта: а верно ли, что Бог водит Вашей рукой? Какова она, Муза, пленительна, по своему нраву? И поэт с грустной отеческой улыбкой вправляет им, несмышленным, мозги: «Из сора они растут, из сора. Не ведая стыда». Да никому это не интересно. Ну почти никому. И только самому поэту не верится, что из трамвайного билета, из обмолвки в очереди за хлебом, из обрывка газеты в деревенском нужнике может начаться это наваждение.

Странная она была поэтесса. Анатолий Найман вспоминает, как восхитило Ахматову, что в Евангелии от Иоанна ничего дурного не подумали ученики, когда застали Иисуса разговаривающим у колодца с незнакомой женщиной. Меня, признаться, ошарашил ход ахматовской мысли. Это меня-то, с червоточиной. Хотя я и застываю с пересохшим ртом, как подросток, у порноларьков, и одной из первых моих забот после операции были гормональные уколы.

Я поймал доктора Золотухина в коридоре и сказал ему, что меня уже десять дней колот гормонами и я прошу его отменить это назначение. «Боюсь за темперамент», — пояснил я свою просьбу и пошел курить, и все ломал себе голову: у кого я позимствовал оборот речи? Вспомнил, — и это было первым признаком возвращения памяти. Аксаков-старший ответил Гоголю, когда тот советовал ему, старику, читать Фому Кемпийского: «Боюсь за талант». Своей осведомленностью по части гормонального лечения я обязан Солженицыну. Девятиклассником я читал машинописный «Раковый корпус» нашей с братом слепой бабушке, Вере Ивановне, а она слушала, курила «Казбек» и стряхивала пепел то в пепельницу, то в масленку. Точнее, она не состояла с нами в кровном родстве, а была подругой нашей настоящей покойной бабушки, Марии Александровны Орловой.

Их было перед войной три-четыре товарищи по несчастью: мужей посадили. Подруги собирались изредка. Разумеется, курили, разумеется, папиросы. Одной из них и была Вера Ивановна Ускова, дочь бузулукского банковского служащего, жалованного дворянством. Она пережила приятельниц, и тридцать лет спустя, совершенно одинокая и слепнувшая от глаукомы, решит помочь раз-другой по дому моей матери и приживется у нас до самой смерти. Когда мы с матерью заехали к Вере Ивановне в коммуналку на Арбат собрать ей одежду на похороны, из складок старушечьего костюма выскользнул конверт с надписью разнокалиберными буквами: «Ирочке Дивногорской на расходы». 200 рублей.

Мама родилась в Москве в 1928 году и доводилась внучкой двум священникам — Александру Орлову и Ивану Дивногорскому; москвичу и провинциалу. Отец ее, Иосиф Иванович Див-

ногорский, был много старше жены и умер, когда дочери едва исполнилось четыре года. Сохранились дореволюционные фотографии: хрестоматийно-красивый усатый военный в бричке. Смолоду я любил говорить, что дед мой был офицером царской армии. Все так, но служил он ветеринарным врачом.

Страшны «не так беды, как пабелки», — читаем у Даля, и — верно: одновременно со смертью отца был сослан в Соловки дед, Александр Орлов, последний и единственный в роду мужчина. Три женщины — Александра Васильевна, престарелая попадья, Мария Александровна, вдовая молодая поповна, и четырехлетняя Ирина — остались одни в казенном мире. Началась двадцатилетняя полоса унижений, умолчаний, лжи в анкетах, пугливого прозябания и зловещих намеков от соседей по коммуналкам. Больше тягот, чем выгод доставляла ослепительная, перешедшая потом к моей матери, красота Марии Александровны, так как лишала незаметности, мешала мимикрии. Когда священника — мужа, отца и деда — переводили из Соловков в ссылку в Казахстан, где он и умер, прошел слух, что можно будет мельком повидаться на Казанском вокзале. Но жена и дочь ссыльного были так запуганы, что на это куцое свидание не пошли.

Большой, с густой проседью над затылками и в бороде, с кустистыми бровями, в маленьких без оправы очках на крупном носу, в облачении, с большим крестом на груди Александр Орлов нынче смотрит с фотографии на книжном шкафу.

Тщательно вымарывались на всякий случай обратные адреса с поздравительных открыток от провинциальной родни, таких же лишенцев. С тех же старорежимных в блестках открыток материнской пионерской, в цыпках, чернилах и с заусенцами рукой соскабливались бритвой «Христос воскрес!» и «Рождество Христово». Тянула всю семью одна моя бабушка. Работала она то счетоводом, то кастеляншей.

Около того времени женское счастье улыбнулось Марии Александровне, она снова вышла замуж за обрусевшего австро-венгра, в прошлом военнопленного первой мировой. Звали его Ян Янович Бокмюллер. От первого брака он имел сына, Руфу. Занимал Ян Янович довольно заметную должность в кондитер-

ской промышленности, и позорная нищета отхлынула от маминной семьи, но ненадолго: загредел и отчим. Через год его выпустили. Итогом неволи стали хронический испуг, улучшение русского и расширение кругозора — сказалось благотворное влияние сокамерников. Двенадцатилетнюю падчерицу обижало, когда он, бородастый и грузный, возвращался со службы, плюхался на стул и говорил:

— Пуф, Маруся, устал.

И мамина мать опускалась перед ним на колени и разувала его.

Перед самой войной Ян Янович ушел к другой. Но захаживал с австровенгерским простодушием к Марии Александровне за советом каждый раз, когда у него возникали осложнения с бухгалтерней.

Сводного брата, Руфу, убили в первую неделю войны, а мою маму отправили в эвакуацию. Там она недоедала, покрылась струпьями и бросила, стесняясь своего безобразия, школу. Когда двумя годами позже кожа ее очистилась, мама продолжила учебу, но ненадолго: крупной красивой девушке пришлось делить школьную скамью с двенадцатилетними подростками; они ее дразнили, и мама снова ушла, проработала у станка до окончания войны и поступила уже в Москве в техникум, где историю преподавала Фаня Моисеевна Найман, ее будущая свекровь.

Недавно мне в руки попал пакет с материнскими письмами из эвакуации. Эта диковинная манера выражаться, которая мною воспринимается как неправильная и даже юродивая, сразу напомнила мне Лескова. Но в сознательном возрасте я не слышал уже таких оборотов материнской речи. Очевидно, этот замечательный язык вымер, упростился и выпрямился под влиянием нейтральной речи моего отца, советского интеллигента.

В пугливом существовании этих трех женщин мне чудится такая подавленность, обреченность и без вины виноватость! Беды и тяготы моей еврейской родни отчасти оправдывались и искупались опрометчивым историческим оптимизмом, а эта поповская семья выживала, потому что в суматохе свершений ее ошибкой забыли добить. Когда я обнаруживаю неравномерное сочувствие, собеседники, бывает, подозревают меня в антисемитизме полукровки. Нет. Несколько лет назад я, правда, постыд-



но заплутал в трех соснах национальной проблематики, но это прошло и — навсегда.

Фаня Моисеевна Найман была женщиной недюжинной. Есть семейная легенда: в детстве пасла она единственную козу Найманов на пустыре в местечке Малин, и шел мимо человек с тросточкой и в капюте, горожанин с виду. Он присел на припечке рядом с девочкой, они разговорились. Незнакомец спросил, знает ли она грамоту.

— Нет, — сказала Фаня.

Он открыл книжку, прочел страницу и предложил ей пересказать.

И она повторила услышанное слово в слово. Горожанин сказал, что выучит ее читать и выучил; это был Шолом-Алейхем.

Их было одиннадцать человек детей. Бесталанный отец имел кожевенную лавку, но семья по существу нищенствовала. Единцам из бабушкиных многочисленных братьев и сестер повезло вырасти; кто тонул или находил гибель под колесами телеги по недосмотру старших, кого убили погромщики. Выросшие мальчики с фатальной неизбежностью становились революционерами, и след их терялся. До сих пор в континентальной Сибири есть якуты Найманы, потомки ссыльных эсеров.

Благодаря своим способностям и общительности Фаня Моисеевна говорила по-русски, как мы с вами. Я не помню специфического еврейского выговора. С солдатским эшеленом бабушка приехала в Москву и как была, босиком и в гимнастерке, села боком на подоконник в Наркомпросе напротив кабинета Крупской. И незримая шарманка сыграла на бис — ладно уж — простенькую музыку удачи; повторилось лубочное действие, только изменился состав исполнителей: теперь роль благодетеля досталась не Шолом-Алейхему, а Надежде Константиновне. И бабушка оказалась слушательницей Академии коммунистического воспитания.

Подозреваю, что до знакомства с моим дедом, Моисеем Давыдовичем Гандлевским, уровень ее понятий и круг интересов покрывались определением Мандельштама: наглая «комсомольская ячейка», наглая «вузовская песня». Я застал непостижимое соседство любви и знания Пушкина с пристрастием к песне

«Сергей-поп, Сергей-поп, Сергей — дьякон и дьячок». Впрочем, такое случается сплошь и рядом. В фольклорной экспедиции от филфака меня озадачивало, как деревенские бабки могут с одинаковым чувством петь стародавнюю величальную и без перехода: «Как на кладбище Митрофаньевском отец дочку зарезал свою».

Комсомольский задор и не всегда уместное простодушие моя добрая бабушка сохранила до последнего дня, несмотря на все несчастья своей жизни. Эта старушечья живость и решительность коробили моего отца-сноба и давали ему повод к обидным замечаниям в адрес ранимой и вспыльчивой Фани Моисеевны. Она была некрасива, и мне кажется, что дед — выходец из чопорной интеллигентской среды — полюбил бабушку за то, что ему она показалась воплощением свободы и раскованности.

Дед мой, Моисей, и младший брат его, Григорий (в семейном обиходе — Горя), были сыновьями потомственного, добросовестного и зажиточного уездного врача, Давида Григорьевича. Когда он вернулся с русско-японской войны и склонился над кроваткой первенца, тот не узнал отца и в ужасе закричал: «Поцилейский, поцилейский, заберите этого городского!»

Жену свою, Софью Моисеевну, беременную Горей, прадед мой отправил в Швейцарию, веря в благотворное влияние красивых пейзажей на течение беременности и внешность новорожденного. Вопреки альпийским видам и красотам Женевского озера, Горя вырос низкорослым, с оттопыренными ушами и лошадиным лицом, являл собой злую карикатуру на Пастернака. Правда, здоровья был отменного. Он умер под наркозом за три недели до смерти моей матери, когда ему, семидесятилетнему, удаляли раковую опухоль почки, профессиональную болезнь химиков Горинной специальности. До этого за всю свою жизнь он обращался к медикам один раз.

В тридцать девятом году он обходил вверенный ему цех какого-то химического производства и услышал неразборчивую возню в одном из гигантских котлов из-под газа. В мановение ока мой отважный родственник взмыл на огромный чан, склонился над люком и увидел, что женщина, в обязанности которой входило мыть котлы шваброй на длинной рукоятки, сорвалась

вниз и потеряла сознание, наглотавшись тяжелого газа на дне емкости. Горя прыгнул в котел, успел поднять и вытолкать сквозь люк обмякшее тело работницы, а сам не справился с дурнотой и занял ее место на дне котла. На шум сбежались люди и вытащили Горю. Но сутки после происшествия он находился между жизнью и смертью и в беспамятстве кричал: «Мамочка!»

Мой дед родился дома, но в отличие от Гори был, по общему мнению, писаным красавцем. Детство братьев было вполне старорежимным, счастливым, кассилевским. Гимназия, языки, отцовская виолончель. Дед мой первым вступил в переходный возраст и возненавидел сытых. Раз, набравшись на стороне вольнодумства, дед вышел к чинному обеду в трусах. Обильная иудейская растительность на его ногах была выбрита кольцами. В таком революционном настроении Моисей и оставил родительский кров году в двадцатом.

Пока Мозя шокировал родителей, его младшему брату открылся смысл жизни. Истина явилась отроку Гандлевскому во сне и была ослепительна. Грубый утренний свет спугнул инородное сияние. Горя ерошил волосы, свесив ноги с кровати, но видение не воскресало. Ночное озарение повторилось раз, другой, третий, однако, как и впервые, не оставляло по себе памяти. Но у Гори был сильный характер. Ценою изуверских упражнений он овладел искусством пунктирного сна, научился вскидываться с открытыми глазами в любое время ночи; чернильница и перо встали в изголовье пророческой гимназической койки. «Ага, попалась!» — и спящий подросток макнул на ощупь перо в чернила, начертал на обоях вслепую глаголы сокровенного знания и провалился с облегчением в сладкий, наконец не вещий сон со слюной на подушке. «Титатикапу», — прочел он, отирая рот спозаранок.

Неудача на визионерском поприще повлекла за собой мальчиковый бунт, и Горя, недолго думая, повис вниз головой, зацепившись ногами за жерло фабричной трубы, и висел так ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы вся округа задрала головы.

Братья встретились в Москве. В один прекрасный день они взяли и «уплотнили» московскую буржуазную родню, и именно этим объясняется загадочное отсутствие родственников с Гандлевской стороны, тогда как Найманов, бабушкиных сородичей, хоть отбавляй. Скорее всего, с молодыми Гандлевскими просто перестали знаться. Взяв в расчет, что молодой Стране Советов нужны специалисты, а не мелкобуржуазные трепачи, старший стал инженером, а младший — химиком. Уткин и Сельвинский потеснили Пушкина и Гете в оригинале. Вскоре братья поссорились на сорок лет, заложив фундамент стойкой традиции на два поколения вперед.

Их примирила старость. И на нечастых семейных сборищах я снисходительно слушал слышанные не раз рассказы двух шутливых стариков о том о сем, о пятом о десятом, о том, как крестьяне пытались отблагодарить прадеда-доктора поросятами и гусями, а гордец и толстовец с негодованием выгонял посетителей из кабинета. Правда, за дверьми докторша делала обескураженным пациентам красноречивые знаки, и живность заносили с заднего двора. Смахивает на мою охоту на академика Коновалова.

После операции благодарная и восхищенная моя душа порхала, как незаконная капуста над первой проталиной, по Дому скорби им. Бурденко, а тело, оплывшее от лежания, волчьего аппетита и гормональных уколов, поплескивая животиком и боками, едва попевало за этим дерганым полетом. В курилку, на заднюю лестницу, по парадной лестнице в вестибюль топотал я на слабых ногах и, не утруждаясь знакомством, с неадекватной мимикой рассказывал встречным и поперечным счастливую повесть своего избавления. Но эта невещественная благодарность нуждалась в вещественных доказательствах, и замордованная Лена с моим списком в руках металась по магазинам в поисках символических эквивалентов — в калориях и градусах — для моей воскрешенной жизни. Это — Золотухину, это — Глазману, это — Ольге Арсеньевне, это — сестрам первой, второй, третьей смены, это, наконец, — Коновалову. Но каков он на вид, этот спасительный академик? Он появился, когда я был в наркотической двенадцатичасовой отлучке, а когда воротился я — его и след простыл.

Подарки делались задним числом и из лучших чувств. Качество лечения и обслуживания не зависело от нашей скарденности или щедрости. Институт Бурденко — удивительный оазис бескорыстия, добросовестности и доброжелательности. А мне есть с чем сравнивать. Мерещится, что эта зачарованная больница унаследовала вместе со зданием института благородных девиц и девичью чистоту нравов и благородное умение не превращать бедность в надрыв и неряшество. Старая нянечка на варикозных ногах склоняется над тобой:

— Милоч, если ты ночью увидишь, что я вот так стою и смотрю, — не пугайся: я проверяю, как ты?

Молодые сестры не вульгарны и не хамят. И пациент бормочет мысленно: «Ущипните меня, так не бывает».

День выписки близился, а единства во мнениях — что дарить Коновалову — не было. Лора Григорьевна из отдела проверки у меня на работе уверяла, что академик «не смотрит в руки»; Инна Александровна и Марат Мефодьевич выясняли и узнали, что только цветы; моя небогатая фантазия забуксовала на идее дорогого коньяка. Мудрый Миша Айзенберг дал лучший совет. Идею цветов и дорогой бутылки можно объединить: в Новоарбатском гастрономе распродажа коллекционных крымских вин. Верно. Это лишало бутылку мужланского привкуса, поскольку коллекционность, гербарность подарка предполагала известную эфемерность, цветочную женственность. На этом и остановились. Плюс букет роз — решили мы с Леной.

За день до выписки, в темный утренний час, когда собирают градусники, баночки с анализами, первые больные шаркают по коридору, а курильщики дохают в уборной, я спустился, как тать, с третьего этажа на первый. Я нес коробку с коллекционной «Массандрой», ровесницей «без толку и зазря» полегшей пехоты — очередное торжество памяти! Я приоткрыл первую дверь и несмело вошел. Два сановного вида медика в накрахмаленных шапочках обернулись на меня. Средних лет ходок с понятными намерениями стоял перед ними: голова в бинтах, как у человека-невидимки. Махровый халат. Голубые штаны. Шлепанцы. Ритуальная коробка прижата к груди. Они предупредили мой вопрос:

— Если вы хотите застать Александра Николаевича, выйдите в коридор. Рядом есть дверь.

Я вышел в коридор и встал перед совершенно невыразительной дверью — такую могла быть дверь в шкаф. Я толкнул ее и оказался лицом к лицу с мужчиной среднего роста. Он как раз снимал пальто и еще не успел извлечь из рукава левую руку.

— Вы вошли не в ту дверь, — строго, но обреченно сказал он.

Я назвал его и протянул ему коробку.

— Вот это вы напрасно, — сказал он.

Я попросил его поставить себя на мое место.

— Ему же пятьдесят лет, — взмолился я, точно речь шла о снисхождении к возрасту вина. Извинился за поднятый шум.

— Это ничего, — сказал Коновалов.

Я произнес заготовленную куртуазную фразу:

— Простите, что Моцарта вынудили сыграть чижики-пыжика.

— Как вы себя чувствуете? — ответил он.

Я сказал, что жена что-то запаздывает с цветами.

— И слава Богу, — устало сказал академик и пожал мне руку.

В коридоре я подумал, что давешняя краткая сцена мне знакома: Страшила благодарит Гудвина за новые мозги.

Но судьба свела меня с академиком еще раз. После выписки мне велели приходить в Бурденко раз в три-четыре дня на перевязки. Я любил эти посещения. Самостоятельно добирался я до института, всему дорогой умиляясь. Предъявляю единый на контроле — умиляюсь, подходит поезд — умиляюсь, еду на эскалаторе — обратно умиляюсь. На институтской вахте вместо пропуска я показывал на свою перебинтованную репу и с достоинством проходил за ограду. Трактовал я с гардеробщицей сложную штуку-жизнь. Натягивал музейные бахилы поверх зимних сапог и подымался я, Сахар Медович, широкой мраморной лестницей, одаривая знакомых и незнакомых утешениями. Раз нашли у Иоанна-Павла II опухоль мозга. Что делать? Притащили ему кардиналы список лучших нейрохирургов мира. Ни минуты не раздумывая, Папа ткнул пальцем в фамилию «Коно-

валов». Послали за Александром Николаевичем личный Иванов самолет. Операция длилась двенадцать часов. А уже через день наместник апостола Петра как был в бинтах толкнул проповедь на весь Ватикан. Вот так-то. Как огурчик.

На родном третьем этаже я здоровался с сестрами, знакомцами по курилке и по-хозяйски подвозил каталку к дверям перевязочной. Стучался. Сестра Маша завозила каталку в кабинет, я разоблачался и ложился навзничь на этот топчан на колесиках. Операционная сестра снимала бинты с моей бритой головы, протирала мне лысину чем-то крепким и прохладным и уходила за врачом. Сергей Павлович мял мне темя, делал пункцию — вытягивал шприцем кровь и сукровицу из-под скальпа. Думал ли я тридцать лет назад, глотая детгизовские небылицы, что на роду мне уже написано на собственной шкуре ознакомиться с кровавым обычаем ирокезов и делаваров!

Благодарюшествуя, я задавал идиотские вопросы:

— Сергей Павлович, вот я люблю гостей, застолье (оказывается, это теперь так называется!) — как мне, можно? (А то бы я воздержался, скажи он «нельзя».)

— Из стакана под одеялом, — отвечал мрачный Сергей Павлович.

— А березы, — не унимался я, — березы я валю на даче. Что мне теперь, нанимать?

— Валите на здоровье, только голову под березу не суйте. Все по самочувствию, говорю я вам, по самочувствию все!

Однажды после очередного диалога сестра не стала бинтовать меня наново, а Золотухин сказал как отрезал:

— Больше приходить не надо.

— Дайте хотя бы марли — прикрыть темя, шапка прилипнет, — взмолился я.

— К чему там прилипать, там щетины на сантиметр! Все! — отвечал жестокосердный медик.

Бритый новобранец второй жизни, недоверчиво поглаживая бестолковку, побрел я по этажу. То есть как это так? Но на лестнице я оживился. Маршем ниже меня со знаменитой мальчиковой легкостью поспешал среднего роста врач. Касаясь рукой перил, он завернул на следующий марш, и я опознал его и припу-

стил за своим спасителем, но, миновав несколько ступенек, запнулся о бессмысленность погони. Все. Больше мне не ходить на перевязки, не охотиться на Коновалова, да и через проходную отныне меня вахтер не пропустит. Все! Эту историю можно ставить на полку счастья в солнечной пыли, следом за Студенческой, 28 и Хэмстэд Хилл Гарденс, 20. Неужели и эта больница на Фадеева, 5 порастет быльем, радость притупится — и снова: стульчак, рухнувшие на пол штаны, лицо в ладонях и кручина — «Все не то, все не то!..»

А во время оно, если верить Олеше, удавшиеся люди оправлялись с песней. Да и дел мой, говорят, в мажоре вторил утреннему реву слива. В себя и в домашних силой внедрялась болдость духа. В себе и в домашних каленым железом выжигались сомнения в верховной правоте. Очень неглупого, имевшего представление об упраздненной свыше бытовой порядочности дела сводила судорога многолетнего самоупрощения, и он лечился круглосуточной работой или бедственными любовными связями на стороне, начисто лишенными французистой легкости.

Брошенная на старости лет бабушка, потеряв голову, сделала и меня своим конфидентом. Двенадцатилетний, я тяготился этим сбивчивым многословным горем старой женщины; слезами, сетованиями и проклятиями, подкрепленными талмудическими ссылками то ли на Клару Цеткин, то ли на Розу Люксембург.

Жили так. Малая Дмитровка, комната 7 квадратных метров в коммунальной квартире. Овдовевшая свекровь Софья Моисеевна со старорежимным высокомерием. Фаня с комсомольским высокомерием. Старший сын, Марк, в пику отцу-сталинисту повесил над своей кроватью портрет Ленина. Младший, пятилетний Юра, плохо ест, и приходится звать — а их долго звать не приходится — детей дворника-татарина: вдруг Юрочка за компанию проглотит ложку-другую. Самоотверженное женское перебрасывание лучших кусков из своих тарелок в детские глаза семьи, уполномоченный Комиссариата Вооружения, Гандлевский М.Д., обычно пресекает брезгливым: «Еврейский баскетбол», но сегодня ему не до того — он рычит за ширмой. С ним врач. Отца семейства выворачивает наизнанку. Он принял яду для достижения гражданской и частной цельности. Но это ис-



ключительный случай. А так воскресные обеды с редким присутствием отца проходят довольно мирно, если не замечать электричества, потрескивающего между свекровью и невесткой, и если старший сын не распушит язык по поводу внутренней и внешней политики ВКП(б). Тогда нетронутый батон летит ему в борщ, обдавая зубоскалу лицо и грудь содержимым тарелки.

Уже после войны, застав моего отца у радиоприемника, изрыгавшего крамолу, дед в два шага пересек комнату и выбросил аппаратуру за окно.

Не мудрено, что Марк использовал любую возможность, чтобы уходить на Тверскую. Там обосновалось Горино ответвление рода.

Горя сошелся с Тамарой Гамбаровой, дочерью большевика, директора Института востоковедения, в 1937 году, ровно в ту пору, когда инстинкт самосохранения велел держаться от этого семейства подальше: только что арестовали и вскоре расстреляли Тамириного отца, Александра Гамбарова. Но самосохранение всегда было слабым Гориним местом. Например, он решил проверить на себе, насколько свободны советские выборы, и вычеркнул Сталина из избирательного списка. Или прыгал с парашютом.

— Страшно? — спрашивал я, подросток, на каком-нибудь сборище у нас на Студенческой, когда папа и Мюда схлестывались по второму разу насчет последней статьи Лакшина.

— Видишь ли, Сережа, — намеренно громко отвечал мой тщеславный двоюродный дед, — страшно и очень. Но страх перед собственной трусостью — еще сильнее. И прыгаешь. — И пожилой коротышка с конопатыми руками украдкой косился на гостей, оценивая произведенное впечатление. Но молодое застолье не слышало и не слушало, а шумело: всем хотелось быть друзьями Ивана Денисовича.

Арест Гамбарова-старшего в одну ночь превратил необходимую и достаточную советскую семью в четверых растерянных недобитков. Женившись на старшей сестре, Горя, бахвал и крамольник, поддержал и тещу-вдову и младших детей, школьников Нину и Жору. Он же превратил ячейку советского общества в осиное гнездо вольнодумства. Сюда и заворачивал мой юный

отец, прочь от принудительного единомыслия отчего дома. У Гамбаровых был особенный воздух, веселый и рискованный. Скажем, навешают они Горю в больнице после случая с химическим котлом. А мятежный дядюшка свешивается из окна палаты и орет на весь больничный двор, не замечая предостерегающей жениной жестикуляции:

— Я же говорил вам, что они снюхаются!

Это о пакте Молотова — Риббентропа. Или Горя поймает по приемнику речь Гитлера и переводит ее молодянку, цитируя параллельно места из сталинских речей.

Началась война. Моисей Гандлевский инспектировал оборонные предприятия и выучился от трудового изнеможения спать урывками — на ходу и с открытыми глазами. Григорий Гандлевский ушел добровольцем на фронт, но был отозван вскоре и назначен ответственным за взрыв Дорхимзавода, если немцы займут Москву.

После войны бабушка, Фаня Моисеевна, преподавала историю в техникуме. На 1 мая 1950 года она пригласила, не без задней мысли, свою красивую студентку, Ирину Дивногорскую, в гости. Мой двадцатичетырехлетний отец, сноб и скептик, как миленький клюнул на удочку своей прямолинейной матери. После двух лет ухаживаний и треволнений мои родители поженились. Марк, натерпевшийся отцовского самовластья, предпочел не вводить молодую жену под родительский кров, а сам перебрался в коммуналку на Можайке, где уже жили старая попадья и стареющая поповна. Через девять месяцев родился я.

Чудно, ей-Богу! Я не застал Моисея Грозного. Помню мягкого рачительного старика-джентльмена, любителя а-ля фуршетов и сочинителя нехудых стихотворных посланий к юбилеям сыновей, невесток и внуков. Он и умер как денди. Пошел сдавать перед командировкой костюм в химчистку, любезничал со знакомой девушкой-приемщицей, а когда она подняла глаза от квитанции, Моисея Давыдовича не было. Заинтригованная приемщица перегнулась через прилавок — на кафельном полу за мертво лежал ее щеголеватый клиент. За два дня до несчастья вечные деловы часы впервые стали, указав на прощанье владельцу точное время его смерти.

Но дед вернулся еще раз. На кухне нас было четверо: отец чинил утюг, кроя на чем свет стоит советскую власть и ее изделия; брат просматривал программу телевидения; мама, в странном балахоне и в косынке, которой она покрывала совершенно лысую от химиотерапии голову, стояла у плиты; а я, присев на подоконник, курил. Дед появился в дверях кухни. Одет он был своеобразно: канотье, тросточка, пара в веселую клетку, жилет. Темные круги под глазами худо гармонировали с нарядом куплетиста и выдавали потустороннее гражданство пришельца. Но гость был бодр и улыбочив, как и при жизни. Отец, как ни в чем не бывало, корпел над утюгом, брат не подымал лица от газеты, мать продолжала готовить. Моля о пробуждении, я вдавился задом в подоконник.

— Не бойся, это он за мной, — успокоила меня мать.

Через несколько дней она умерла.

Было праздничное утро, 9 мая 1984 года. Я помешивал на кухне кашу для девятимесячной дочери, Лена пеленала Сашку в нашей комнате, брат был у себя, отец — в их комнате, возле матери. Он вбежал на кухню со словами: «Иди, мама умерла». Я подошел. Мать страшно и широко зевала. Брат-медик сорвал косынку с ее головы и подвязал покойнице челюсть. Лена стояла в дверях родительской комнаты с Сашей на руках. Сиплым голосом отец сказал:

— В душе мама была глубоко религиозным человеком, — и зажег не с первого раза красную витую свечу в декоративном подсвечнике.

На запах горелого молока я ушел на кухню.

Приехала перевозка.

— Погодите, — сказал я и поцеловал мать. Оказывается, человек остывает быстро, как теплый чайник.

Два мужика положили голое тело в футляр из пластмассы, захлопнули крышку, замкнули и унесли вон.

— Мы с Сашей выпьем по рюмке коньяка? — сказал отец, имея в виду, чтобы я не пил.

— Пожалуйста, — успокоил я его, — я в церковь схожу.

Агония началась накануне. Мать была без сознания, выкликала домашних по именам, требовала сумку.

— Косметичку? — не понял я.

Мать не ответила и продолжала приказывать:

— Дайте мне сумку!

За десять дней до смерти матери показалось, что до ночи ей не дожить.

— Не уходи, пожалуйста, сегодня никуда, — попросила меня мама.

Отцу она сказала позвать близких — Мюду, Юру, Катю, Горю, Яню, Нину. От матери скрывали, что Горя умер на днях. Близкие приехали, мать спала после омнопона. Мюда, больная раком, от которого она умрет через шесть лет, сидела у кровати спящей подруги и уже собиралась уходить, когда больная открыла глаза и произнесла: «Вот и попрощались».

— Откладывается, — с виноватой улыбкой сказала мать после ухода посторонних.

Наутро мы смотрели по телевизору первомайскую демонстрацию.

— Любопытно, — поинтересовался я, — старики на Мавзолее знают, что люди идут за отгулы?

— Может быть, старики сами стоят за отгулы, — сказала мать.

В тот год была очень ранняя весна, и двор Новодевичьего монастыря ломился от сирени. Я купил и поставил свечу перед какой-то иконой. Подошедшая храмовая старушка ловко переставила свечки, и я огорчился, что не могу отличить свою от чужих. Но, выйдя на паперть и закуривая, я почувствовал нечаянную правоту церковной бабуси. Если это и есть соборность, я не против.

В жизни мне доводилось делать и глупости, и гадости, и мерзости. Но не они — одна оплошность, недосмотр саднит мое сердце. Я пришел к матери в ее предпоследнюю больницу, 2-ю онкологическую на Бауманской, чтобы рассказать, что я позвонил Лене и просил простить меня и вернуться на «Юго-Западную».

— Конечно, не обижай ее, — обрадовалась мама.

Подавленный ее видом, не оставлявшим сомнений, я наспех поцеловал мать и ушел, почти убежал. И только у метро меня ударило: ведь она наверняка стояла у окна палаты на втором этаже и махала мне в спину. Раз она ходит, она стояла там и махала, как делала сотни раз, отпуская меня гулять во двор, провожая на экзамены и в отъезды... Маши мне всегда! Слабый, себя-любивый, обмирающий от нежности, заклинаю: ни на мгновение не опускай руки, на каком бы ярусе мира ты сейчас ни была и чего бы это тебе ни стоило. Пока под твоим взглядом я не обернусь, содрогаясь от рыданий несбыточной встречи.

После смерти матери семья наша развалилась. Сразу стало ясно, кто был настоящим главой, а кто громыхал от бессилия атрибутами власти. Мать, как проводник, всю жизнь вела моего отца, страдавшего сердечной недостаточностью в прямом и переносном смысле. Из какого теста сделан я — уже, надеюсь, понятно. Принципиальная по молодости Лена никаких чувств к отцу и брату не испытывала, а на принципах далеко не уедешь. Мое с отцом обоюдное раздражение с пятнадцатилетним стажем разгоралось. Советские обменные страсти, азбучный эгоизм брата добавили масла в огонь. От вражды в квартире на «Юго-Западной» стало душно, хотелось рвануть ворота.

Отец мой был умным и порядочным человеком. Он обожал жену и гордился ее красотой. Но счастливая женитьба была единственным подарком судьбы: то ли фортуна поскупилась на продолжение, то ли надорвалась, не рассчитав своих возможностей. Человек гуманитарных наклонностей, эрудит и советский вольтерьянец, он тридцать пять лет инженерил, не сходя с Доски почета. Вопреки тайной робости перед людьми, он тридцать лет начальствовал на работе. Домашний деспот, он столкнулся с пьяным неповиновением детей. Несмотря на мой высокомерный культпросвет, он произносил «звонит» и «Пастернака» и, забыв сыновнюю беспардонную науку, мог выкрикнуть в пылу спора с Мюдой: «Даже умница Луначарский!»

Лучшие мои воспоминания об отце, конечно, детские. Если он нес нам добрую весть, походка сразу выдавала его: он шел стремительно, враскачку, размахивая руками. Это значило, что мне надо хорошенько поискать, и я найду новый, покрытый для таин-

ственности одеялом велосипед, или что отец нашел-таки моторку, которая подбросит нас пятерых, включая колли, из Углича вверх по течению, до Баскачей. Последние пятнадцать лет жизни он ходил по-другому, по-печорински опустив руки; это уж моя заслуга.

После смерти матери отец довольно топорно давал мне знать, кто сгубил ее, а заодно и его жизнь. Во время молчаливой неустойчивой совместной работы на только что полученном дачном участке отец сказал, что вообще-то догадывается о меркантильной подоплеке моего усердия. Я бросил ему ключи от дачи, и мы вчетвером (Гришка уже появился на свет) переехали жить к теще. Там кроме Татьяны Акрадьевны уже жил Ленин брат с женой и девятимесячным сыном. Нам досталась проходная комната. Трое детей плакали и болели хором, заражаясь друг от друга. Телевизор орал круглосуточно. Ленин брат в кальсонах пересекал комнату во время наших редких пугливых соитий. И от каждого моего чрезмерного движения падали и разбивались вдребезги несметные тещины бронзулетки.

Отец умер в девяностом году от четвертого инфаркта. Теперь нам с братом и мачехой уже не первый год причитается отцовская запоздавшая валюта от Центробанка. Доллары из Ирака. Значит, беспартийный еврей, сочувствовавший Израилю, всю жизнь уродовался на воющую советскую власть и ее прибалтанных дружков-шестерок: Кастро, Каддафи, Хусейна — и с еврейским прилежанием усовершенствовал ракеты, полетевшие в свой срок на Тель-Авив.

Вот он стоит в черных трусах до колена ночью на кухне. Пузырек и чашка ходят в его руках. «Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...» — булькает валокордин. Отец небольшого роста, лысый, с лицом, отечным от сердечной болезни. Глаза его кажутся маленькими из-за очков минус семь. Толстый живот, стариковские груди, спина — в седой растительности. На кухню вхожу я. Отец загнанно озирается через плечо, готовый к отпору и нападению.

На материнских поминках я подошел к окну, встал рядом с Мюдой и пожаловался на отца.

— Да, — сказала Мюда, — в день Аришиной смерти мы приехали, а он расставлял тарелки и рюмки и с надрывным вызовом пел советские песни. «Прекрати, Марк», — умоляла я, а он пел.

— Проклятая какая-то семья, — сказал я с нетрезвым драматизмом.

— Все семьи проклятые, — уточнила Мюда.

Этой семьи больше нет, этого круга нет тоже. У меня в обычае раз в году, в свой день рождения, 21 декабря, с утра сесть на 39-й трамвай и ехать в крематорий.

Когда я родился, сослуживцы поздравили отца с маленьким Иосифом, но отец разочаровал их. Я воображаю, как моя мать, оправившись от родов, подходила к окну роддома имени Грауэрмана, смотрела на заснеженные, уже обреченные кровли Арбата, была молода, красива, счастлива. Но сегодня, во вторник 21/ХII — 93 года у меня не получается настроиться на сыновний лад, потому что весь объем души отдан под диагноз. Пустыми глазами скольжу я по Даниловскому монастырю, рынку, церкви на Хавской.

Университет дружбы народов. Моя. Я вхожу в крематорские ворота, иду по заснеженной дорожке. «Дорога со всей прямоотой направилась на крематорий». Это надо уметь: вбить в поминальные строки пошлый каламбур плюс внутреннюю рифму. Оставляю кремационный цех по правую руку и, обогнув груды кладбищенского мусора, сворачиваю на нужную тропу. Голова, разумеется, болит. В ушах сухой марш без музыки, только остов ритма. Навстречу мне — странная пара. Дорого одетый мужчина моих лет ведет под руку старуху в лисьей шубе и пунцовой цыганской шали. Очень яркий грим как-то сдвинут относительно природных черт когда-то красивого лица.

— Холодное хмурое утро, — хрипит старуха снизу вверх своему спутнику, и схваченный боковым слухом случайный амфибрахий вторит, точно эхо, давешней цитате.

Крайняя ниша на третьем от земли ярусе. Здравствуйте. Два фарфоровых овала и металлическая полочка под цветы, заказанная отцом на работе. Это не сплошная стена, а бетонный параллелепипед, почти куб. Казенный вид скрашивает сирень, но сегодня все голое — декабрь. Я кладу цветы плашмя на заснеженную полку, предварительно надломив стебли.

(Ровно в десять утра чирикающего московского утра Горин «Москвич» молодецки загукал под двумя окнами на первом этаже дома №28 по Студенческой улице. Вышли из подъезда с корзинками и сумками со съестными припасами: мать во всеоружии зрелой прелести, отец с молодыми залысынами и вечной иронией на твердых устах. Брат нес бадминтонные ракетки, а я, прыщавый девятиклассник, — том Пастернака с предисловием Синявского. Книгу дала мне на три праздничных дня учительница литературы Вера Романовна и велела беречь как зеницу ока. Ехали мы по путевке на какую-то подмосковную базу отдыха. Всю дорогу отец с каменным лицом язвил по поводу толстой тетки с авоськой в левой и кадкой с фикусом — в правой руке, глумливо коверкал кумачовые призывы, давал Горе убийственные советы по вождению, чем довел меня и брата до смеховой икоты.

База оказалась дюжиной милейших свежевыкрашенных дощатых домиков на берегу петливой речки. Мне досталась махонькая одноместная комната с окном в сумерки, зелень, соловьиное шелканье. Отец отпер мне дверь, поцеловал на сон грядущий и, кивнув на синего Пастернака, порекомендовал не свихнуть мозги окончательно на иной особенно заковыристой метафоре. Читал я долго, почти ничего не понял, но стариковские ясные стихи мне понравились.

И так неистовы на синем  
Разбеги огненных стволов,  
И мы так долго рук не вынем  
Из-под заломленных голов...

Я поежился от сырости казенного белья, предутреннего холода и грозного счастья подступившей вплотную жизни. Улыбнулся и уснул. И вот только-только открыл глаза.

Смеркается, и постепенно  
Луна хоронит все следы  
Под белой магиею пены  
И черной магией воды.



И все? И этот курьезный сон и был долгожданной жизнью? Шутовское шествие обойного народца? Страшенский театр теней? Бег в мешках? И уже не опротестовать, не исправить, не обменять путевку? И ни одного мертвого не воскресить? И даже взять свои слова обратно — нельзя?)

Закурив, я по привычке обхожу колумбарий. Знакомые за десять лет имена и лица. Митлины. Державины. А вот и Илья Цыпкин (1953—1975). Класе в шестом на большой перемене он внаглую шпионерил у меня серию погашенных Рио-Муни, флору и фауну я тогда собирал. Скоро, Цыпа, судя по всему, нам предоставится возможность провентилировать застарелый имущественный вопрос. Четыре их было, четыре незабвенных колониальных: носорог, жираф, бегемот, слон. У него, как у китайца.

Этим летом толпа в Тучково с боем брала электричку Гагарин — Москва. Через сумки на колесиках, корзины, рюкзаки я чудом протиснулся в середину вагона, бросил свою поноску на багажную полку и огляделся. Я нависал, сопротивляясь спиной давке, над матерью Цыпы. Странное дело — за тридцать лет она совсем не изменилась: дородная, крупная, красивая — настоящая жена офицера. Сквозь перестук мигрени и электрички я разобрал, что говорят сидящие, как водится в дачных поездах, о соленьях. «Чудно, — подивился я, — вот едет мать самоубийцы и обсуждает с попутчиками технику консервирования томатов. А чего бы ты хотел, чтобы они делились опытом, как наложить на себя руки половчей?» А телефон у Цыпы был Г9-16-49. И такой злодейской памяти я чуть было не лишился!

Мрачная домовитость владеет мной. Я смекаю, что в нашей нише хватит места и на третью урну. Неплохо бы под предлогом черного юмора заронить эту идею в Ленино сознание. А то зашлют в какое-нибудь Бирюлево-Товарное, и никто не приедет, и правильно сделают.

Я докуриваю, завертываю бычок в пробитый трамвайный билет и сую это хозяйство в карман. Бросаю напоследок взгляд на два фарфоровых овала и иду к трамваю. Дорогой я снова незряче плююсь в окно и организую поминки. Ленка наверняка раскиснет и забудет кого-нибудь позвать. Друзей, слава Богу, скопилось немало. Интересно, отвяжется от меня сегодня амфи-

брахий? Выход есть: надо, чтобы Наташа Молчанская попросила позволения у Словесного устроить поминки в конференц-зале, а потом уже самые близкие пойдут к нам домой — допивать.

Выйдя на Вишняковском переулке, я сворачиваю на Остро-вского и покупаю в кулинарии «Прагу», свежайшую. Идти на работу рано, но и домой не резон, и я иду на работу. Здоровуюсь с вахтершей, беру наш ключ с зеленой пластмассовой бляшкой, поднимаюсь на второй этаж, отпираю комнату, ставлю торт на чайный столик, сажусь в пальто за свой стол и, подперев щеки кулаками, мычу от головной боли, страха смерти и пятничных своих художеств.

В пятницу семнадцатого, выйдя из Бурденко, я подумал, как кстати, что сегодня вернисаж у Семы Файбисовича, и я увижу на прощанье милых мне людей и выпью хорошенько, раз так. А Лене до понедельника ничего не скажу, чего зря нервы человеку трепать? И я себе понравился. Дома я принял душ, сперва горячий, потом холодный. Но думал я про свои обезображенные мозги: вот они нагреваются, вот они охлаждаются. Позвонил Гриша Дашевский справиться о моем здоровье.

— Испортить тебе настроение? — спросил я.

— Да говори ты все как есть.

Потом позвонил подруге и начальнице Наташе Молчанской. С присущей ей прямоотой Наташа заявила:

— Умереть ты, скорее всего, не умрешь, но идиотом остаться можешь.

Вот спасибо. Я начал наряжаться, в этом я толк знаю. Красное с серым, черное с любым. Пришла Лена, она отвозила детей к теще. Я сказал, что результаты будут в понедельник, в поликлинике, и попросил ее не лениться — расфуфыриться, вернисаж как-никак.

— Только не занудствуй, — сказала она, — а то я пойду в галошах на босу ногу.

От шмоток этих, купленных в Монреале на церковной распродаже или набранных за так в Иерусалиме на складе, у нас шкафы не закрываются, а жена ходит в чем попало. Мальчицкий стиль, порточки да ковбойка. Перед тем как познакомить нас у себя на дне рождения, Сопровский предупредил:

— Будет моя экспедиционная приятельница, ты с ней полегче: она чуть что не так — бьет по физиономии. А в Севастополе — сам видел — ее не пустили в туалет, сказали: «Мальчик, это женский».

И вошла глазастая пигалица, и я лишний раз подумал, что Сопровский ничего не понимает в женщинах. От пьяного восхищения я тогда заснул в уборной. Это было начало знакомства. Мальчик мой бедный! Ей бы только лепить из глины допотопных идолищ или рисовать на беленых разделочных досках первобытную невнятицу.

— Разные бывают джазы, — сокрушаюсь я, глядя на Ленино очередное изделие, — иной джаз и слушать не захочется.

Мне нравится ее реалистическая манера, перьевые рисунки: дачные заборы, телеграфные столбы, замоскворецкие подворотни. Но ей, угрюмой от застенчивости и гордыни, боюсь, ничего не продать ни в Измайлове, ни на Крымском валу.

— Как твоя голова? — спросила Лена, отвлекаясь от грима.

— А-а-а, как обычно.

Голова моя, голова. Лучше не думать.

— Надень шубу.

— Слякоть же.

— Ну пожалуйста.

Мы, как всегда, малость опаздывали, но не катастрофически. На «Тургеневской» чуть не поругались, куда выходить. Права оказалась Лена. Мы двинулись по левой стороне Мясницкой в сторону Садового кольца. Справа по курсу я не видел почти ничего, слева изображение двоилось.

Стемнело. Шел снег с дождем. Смех да и только: косой полуслепец прется на вернисаж. Снова мы заплутали, но вдруг прямо напротив через улицу увидели сияющую огромную голубоватую витрину и курящих снаружи на ее фоне Мишу Зайцева, Тимура, Леву, судя по их воплям и жестикуляции, уже поддатых. Значит, к шампанскому мы опоздали. Подобрав полы пальто и шубы, я на пятках, а Лена на цыпочках перебрались через запруженную мокрым хлюпающим снегом Мясницкую и вошли в галерею. Здесь мы с Леной потеряли друг друга из виду и бро-

дили каждый сам по себе, улыбаясь, здороваясь и роняя приветливые фразы.

Я всегда чувствую себя на вернисажах и презентациях не в своей тарелке, а сейчас я был дополнительно скован сверхзадачей не выдать своей неполноценности.

Однажды в Сухуми я видел, как стайка бездомных собак перебежала улицу. Одну из них пересекла не потрудившийся тормознуть лихач и расплющил ей крестец и задние лапы. Я наблюдал с минуту, как с делано бодрым тьявканьем, на одних передних конечностях и волоча за собой кровавую слякоть, собачонка поспешала за товарищами, точно пыталась побежкой и лаем обмануть их: мол, все в порядке, я с вами, так — небольшая заминка.

Вот такой сухумской собачонкой я казался себе, когда потягивал дежурные фразы и бродил мимо Семинных полотен, зажмурив правый, бутафорский, по существу, глаз, для лучшей видимости. Мне нравятся некоторые картины Файбисовича, кроме того я благодарен ему за то, что он не шарлатан и не берет зрителя на испуг.

Раз на одном вернисаже я, тоскуя, бродил мимо бессмысленного и бесчувственного нагромождения предметов: композиция №1, композиция №2 и так далее и прилично встал перед п-ой композицией. Казенный журнальный столик с пластмассовыми стаканчиками. Один был повален. Из него на полированную столешницу патекла лужица вина или сока. Подошедшие Лена и Варя оказались более простодушны и, хихикая, вывели меня из заблуждения — это был внеэстетический столик и внеэстетические стаканчики; просто следы артистических возлияний.

Жмурясь и смаргивая у огромных картин, я поймал себя на том, что с большим удовольствием смотрю на монотонные холсты, и с родственной радостью заподозрил живописца в дальтонизме, фамильном гандлевском изъяне.

— Ну скажи, Сережа, что ты находишь в этой картине? — спросила меня хорошая знакомая.

Стараясь строить фразу так, чтобы не споткнуться о забытое напроць имя, я сказал:

— От этих косых волн у меня кружится голова.

Это было правдой. И болит. И шумит в ней так, что я не могу отличить внутреннего гула от гула высокого многолюдного зала и стрекота видеокамер.

Навеселе, с женой и — Ниной-Таней-Верой-Олей — горячо! с Олей Трофимовой-Тихоновой-Тимофеевой, верно! с Тимофеевой, повтори: Тимофеева Оля, запомни — показался Генис. Саша? — правильно, его зовут Саша. Подойди и поздоровайся, но не части, а то запутаешься в словах.

— А я сегодня был в «Иностранке», — ответил Генис на мое приветствие. — Ваши коллеги сказали, что вы делаете какой-то анализ. Все в порядке, да? — И он отвлекся на набежавшие с тыла объятия.

Продолжительного разговора с Генисом я особенно остерегался и рад был, что легко отделался. Два года назад они с Петей Вайлем при посредстве всемогущей Лены Якович беседовали с Тимуром и мною для «Литературной газеты». Так: взгляд и нечто под халяву «Абсолюта». Потом Крава передала мне, что критики расхваливали мою разговорную реакцию. Мне нравится нравиться и не хотелось, чтоб Генис увидел, что за два года из краснобая я превратился в заторможенного дегенерата. Но пронесло. Я стал усиленно крутить головой и прилежно всматриваться. Потерявший дар речи, полуслепой, с полным в края аквариумом мигрени в дрожащих руках, я искал свою жену и водку, предназначенную мне. Почему вокруг одни подвыпившие, а я, кому всех нужней, — трезв как стекло? Миша Зайцев, стоя у окна, украдкой вращал против часовой стрелки желтую крышечку, выглядывавшую у него из пакета, и с извинениями я стал двигаться сквозь жужжащую толпу на призывный блеск латуни.

Махом я принял свои сто пятьдесят, и у меня отлегло от сердца. Были здесь: красавица калмычка Валя, жена Коваля; красавица еврейка Алена, жена Айзенберга; и русская красавица Аня, жена Зайцева. Для плакатной гармонии не хватало только красивой негритянки. В этом цветнике я и осел; довольно мотаться по залу, как не знаю что.

Женский щебет умиротворяет, точно лежишь на лугу в Тучкове, и малая птаха трепещет над тобой в жарком небе и лепе-

чет, лепечет. А чуткий Чарли сидит рядом, раздувая африканские ноздри, и зачаточный брех ходит у него в горле.

Обсуждали шубу Лены Борисовой, купленную ей Тимуром с Пушкинской премии. Жена Кибирова очаровательно хвастала обновками, а потом прикрикнула на меня:

— Гандлевский, подал шубу!

Я наклонился к полу, и голова тяжело пульсировала, словно я не легкий мех поднимаю, а беру вес, натерев ладони тальком.

Второй раз обнесли шампанским. Я взял два бокала — себе и Лене — и поставил их за спину на подоконник, про запас. Подошли моя Лена, Тимур, живчик Рубинштейн. Выходили курить на сырую улицу, прихлебывали под мануфактуру, зубоскалили. Варя Файбисович мимоходом шепнула:

— Скоро закончится, и все идем к нам.

Вернисаж сворачивался, и званые — группами по трое-пятеро — потянулись к Садовому кольцу, в сторону Файбисовичей.

Мне выпало идти с Зайцевым и Кибировым. Дорогой обсуждали незадачливого издателя, расплатившегося с нами сполна, а книжек так и не напечатавшего. Говорил большей частью Тимур.

— Пусть Лева, — говорил он, — утверждает, что плевать хотел, читают его или не читают. А я хочу, чтобы меня читали, печататься хочу и не скрываю, и не вижу в этом ничего зазорного.

И Зайцев вторил ему, что все договорные обязательства просрочены и где-то у него есть дискета с готовыми макетами наших книг, так что работа на пять шестых, если не на шесть шестых, закончена, и надо только найти издателя-хвата.

Ну что, спросил я себя, противны тебе с твоими новыми интересами эти заботы? Нет, ответил я себе честно, не противны. А хотел бы ты, чтобы твои товарищи хлебнули подобной беды, хотя бы для того, чтоб не было так одиноко? Нет, ответил я честно, не хотел бы. Но презираешь ты этот тщеславный треп с высот своего ужаса? Нет, и хватит об этом. И я снова понравился себе.

За разговором допрыгали мы через лужи до искомого дома и подъезда, подождали женщин и Ковалея, который, словно князь Вяземский, успел занять им душу. Пришли, расселись.

Я жалею тех, кому не доводилось выпивать и закусывать у Семы с Варей, изведать хлебосољства высокой пробы, покоящегося на радушии и достатке. Своды застолья уверенно опираются на колоннаду из шведской и финской водок («Плохая физика, но какая поэзия!»). Снедь исключительна! На разлтых блюдах застыли широким прибором ветчина, буженина, бастурма; паштеты и творог с чесноком стоят формованными холмиками в хрустале. Лобио-мобио и зелень-мельень, само собой. Черемша. Салаты, салаты, салаты. С крабами. С черносливом, изюмом и курагой. Оливье. Сациви. Огурцы такие, огурцы сякие. Томаты. Холодец, черт возьми, с красным хреном и хреном белым. Анины пирожки с картошкой, луком и грибами. Соленые рыжики и опята. Корейская капуста и капуста квашеная с тмином. На горячее Варя, покрикивая, чтобы освободили место на столе, вносит невероятных размеров блюдо с горою румяных куриных ног. Морсы в кувшинах, балоны с пепси и колой — не могу! Хлеще застолье я видел только на сорокалетье Алика Батчана, где подали чуть ли не лебедей, запеченных целиком.

Рачительный хозяин не надирается, как некоторые, от волнения и невоздержанности, а высится и ширится с достоинством на углу длинного стола. Пока не придет Семин черед грянуть:

Мы железным конем  
Все поля обойдем,  
Соберем и посеem и вспашем.

После трехсот грамм я, как загипнотизированный, плююсь на Варю, и только страх перед Леной вынуждает меня время от времени сворачивать налитые буркалы в сторону.

Мы примостились на восточной оконечности длинного стола. Слева от меня медитировал Витя Коваль, и, судя по взятому им темпу, дело шло к живой картине «Роды кашалота». Во всяком случае исполнение песни на китайском языке становилось все более засушным и реальным. Справа ни в чем себе не отказывала моя жена и терялась в догадках, сластена: что-то будет к чаю, если такая роскошь под водку? Моим визави оказался Евгений Барабанов, огромный философ с косицей. Тихий ангел пролетел

над нашей частью стола, и я, пожизненный каторжанин застойной непринужденности, ляпнул с опозданием лет на пятнадцать, что читал его в «Из-под глыб».

— Какой эрудированный молодой человек, — осадил меня философ.

Я огрызнулся, что, во-первых, не эрудированный, а во-вторых, не молодой, и оборотился к Ковалю. Но он сосредоточенно хоркал горлом, готовясь к крику филина в полнолуние; собеседник из Вити был никакой. Пользуясь Лениной демонстративной кротостью, я принялся фужер за фужером молчаливо дегустировать «Абсолют» и вскоре перешел на автоматический режим управления.

Застолье потеряло строй, сдвинулось, как осыпь в горах, с мертвой точки и поползло, увлекая за собой все что ни есть.

Воскресные Ленины шадящие рассказы и собственные лоскутные воспоминания воссоздали мне мои подвиги в ночь с 17 на 18 декабря. Час мой пробил без четверти час по московскому времени, когда Лена намекнула, что хватит мне уже абсалютовать и абсолютизировать: метро закроют. Я повернул к ней белые бешеные глаза и процедил:

— Как ты смеешь уводить меня сегодня? Меня! С опухолью мозга!

— Врешь! — сказала Лена.

— Менингиома, — возразил я.

Лена смекнула, что этот термин — новичок в моем словаре, как он ни обширен, и сникла, смирясь. Начало было положено, ржавые замки сбиты, шлюзы отворены — подполье поперло наружу.

С пьяной мстительностью и коварством я принялся исполволь разворачивать корабль праздника в нужном мне направлении, подложив под компас топор своего несчастья. Первой самой легкой жертвой пал Миша Айзенберг. Доверительно и сладострастно — точно ему одному — я поведал Мише о случившемся и связал его клятвой молчать. Мой дорогой друг заслонил лицо рукавом в отчаянье и до конца сабантуя не проронил ни слова и только пил, пил и пил, так что под утро уснул, стоя на коленях и уронив свою умную лысоватую и седоватую голову на



кухонный табурет. С Тимуром я не достиг взаимопонимания. Вскользь я сказал ему об опухоли, но он только захохотал и развеселился пуще прежнего и заорал:

Молодо-о-ого да конного-о-на  
Несут с пробитой голово-о-ой.

Отбомбив территорию по первому разу, я не утолился, залил баки горючим и зашел на второй круг. Я подсел к Файбисовичу с сожалениями, что мы так и не стали друзьями.

— Но это никогда не поздно, — хлопнул он меня по колену.

И в ответ я томно потупился.

Слава тебе, водка, напиток оглушающий! Опоенный тобою говорит только о своем, и надежней берушей твое воздействие! Не то бы я оповестил всех и каждого, шут гороховый!

На рассвете Лена втокнула существо, не обнаружившее «божественной стыдливости страданья», на заднее сиденье батчановской «Вольво», и Алик нажал на газ и повез нас на Старый Толмачевский переулок, где соседка-смерть стучит черенком ножа по батарее и немецкий дрессированный будильник, купленный в Иерусалиме за сорок шекелей, аккуратно в 7.30 зыгрывает: с понтом судьба стучится в дверь.

Прежде я считал утренние угрызения совести обнадеживающим признаком. Но у Мартина Бубера я вычитал, что человек, смакующий свою грязь, вовек из нее не выберется, и — перестал уважать это невеселое времяпровождение.

И входит в отдел критики и публицистики, где я, не сняв пальто, курю и тоскую, Гриша Чхартишвили. Здоровается и сухо переходит к делу.

— Наташа мне сказала, — говорит он, — и что вы предприняли?

Я отвечаю, что вчера мы ходили в тамошнюю поликлинику и нам обещали на днях положить.

Действительно, накануне, 20 декабря, мы встали, как обычно по будильнику, в полвосьмого. Лена отвела детей в школу и вывела Чарли, а я вымыл вчерашнюю посуду и сварил кофе. Быс-

тренько мы позавтракали, выкурили по сигарете и отправились в Бурденко.

Народу было не сказать чтобы мало. Судя по тому, что со-слепу некоторые пациенты не с первого раза находили нужную им дверь, я попал туда, куда надо. Сперва меня вызвали к оку-листу. Врач вращала передо мной на стояке и шарнире полови-ну обруча, похожего на штурвал самолета. Заняло это не более трех минут. Всем знакомую буквенную таблицу я не осилил, да-же первого ряда.

Вызвали во второй кабинет, вошла и Лена. Махоньякая седая докторша глянула снимок, перелистнула бумажку-другую, зада-ла пару вопросов.

— Ну что, Сергей Маркович, — подытожила махоньякая докторша, — мудрить нечего, надо оперироваться. Приятного мало, но надо.

Мы тронулись в обратный путь. Посередине двора, которым с провожатыми и без брели полуслепые люди, зиял открытый канализационный люк. Но это было и осталось, пожалуй, един-ственной поживой моего злопыхательства.

— Это все не годится, — говорит Гриша Чхартишвили ре-шительно. — Сначала вы будете ждть места до второго прише-ствия, а потом лежать столько же, и на вас никто внимания не обратит. Вы с Луны, что ли, свалились? Здесь пальцем о палец никто просто так не ударит. Надо поднять волну. В прошлом го-ду, когда Кузьминский угодил в «Склифосовского», мы сделали так, что телефон на столе директора не умолкал день и ночь. На-до им внушить, что вы — гений-перегений, что солнце русской поэзии закатывается, и так далее. Есть у вас знакомые «генера-лы»?

Я отвечаю, что лично не знаком ни с кем. Битов, говорят, чи-тал мои стихи и не худо отзывался. Искандер вроде тоже. Но это все слухи, и звонить-просить на этом основании я не могу.

— А вы и не будете звонить, — говорит Гриша, — звонить будем мы, но надо знать кому.

Тем временем пришли Наташа Молчанская, Оля Басинская и посильно участвуют в разговоре. Я набираю номер Витковско-го и спрашиваю:

— Женя, скажи, пожалуйста, Евтушенко в городе?

— В городе, в городе, — отвечает он мне своим уникальным голосом, — в Нью-Йорке.

Безнадега.

— Самая большая знаменитость из моих знакомых, — признался я, — Кибилов. А ему премию вручал Битов. Может, с этой стороны зайти?

— Наташа, звони Кибилову, — велит Чхартишвили Молчанской.

А я выхожу в коридор. Я слоняюсь, как маятник, из конца в конец ковровой дорожки и здороваюсь по нескольку раз с одними и теми же сотрудницами. Поравнявшись с нашей дверью, я слышу, как бодрый Наташин голос перекрикивает помехи барахлящего кибиловского аппарата:

— У него там из мозгов выперла здоровенная гуля.

Гуля Королева. И редакция оживляется: наш коммерческий директор, Аня Гедемин (редакционная кличка — Дюймовочка), звонит подряд по справочнику Союза писателей и дошла уже до буквы «З»; Изабелла Фабиановна действует через жену Юрия Черниченко, и впервые звучит фамилия «Коповалов»; Алексей Николаевич Словесный сокрушается, что нет у него связей Чингиза Торекуловича; Оля Басинская греет чай. А я, крепясь, чтобы не развести сырости от прилива благодарности и смертной истомы, прошу начальницу Наташу нарезать «Прагу» — день рождения как-никак. В этих хлопотах проходит ненормированный рабочий день. Перед уходом я завернул к Алексею Николаевичу попрощаться, и лучше бы мне этого не делать: редакционную коллегию свела судорога сострадания на хрестоматийные «почти полторы минуты». Куртуазный смертник зашел сказать последнее «прости» главному редактору, заведующей отделом художественной литературы, ответственному секретарю, и. о. отдела критики и публицистики и заместителю главного редактора.

И началось мое великое домашнее лежание с книгой вверх ногами и Чарли в ногах. Оно сопровождалось непрерывными телефонными звонками. Подходила Лена, ибо я терял речевой навык не по дням, а по часам. Звонки делились на две категории: а) собственно сочувственные; б) деятельно участливые. Женские

звонки первого разряда иногда заканчивались славными рыданиями, долетавшими до моего ложа. Тогда Лена хладнокровно утешала досрочную плачею. Звонки второго разряда были суше, Коновалов поминался постоянно.

Тимур сказал, со слов всемогущей Лены Якович, что министр культуры, Е. Сидоров, ничего сам писать не станет, но подпишет любую бумагу; у Любови Дмитриевны, жены тестя, нашлась подруга, врач из Бурденко; критик Павел Басинский, Олин муж, бил прицельно по тому же сидоровскому ведомству; Алена Солнцева выяснила, что приятельница ее матери была одноклассницей академика.

Спустя два дня позвонил главврач, Л. Ю. Глазман, судя по голосу контуженный «волной», и недоуменно сказал, что лечь можно хоть завтра, но какой прок, если впереди целый поезд праздничных дней, а оперировать будет Коновалов, Коновалов, Коновалов. Налицо был явный перебор доброжелательства, и Лена стала просить друзей и людей вовсе незнакомых притормозить, сбавить обороты.

Чистил ли я зубы, гулял ли с собакой, болтал ли через силу с детьми — все я делал с поправкой на допустимую смерть. Изредка мрачная игривость овладевала мной. Тогда я громыхал верхом на швабре вокруг обеденного стола, называя себя «всадником без головы». Или просил Лену на случай, если я вернусь из больницы идиотом, удушить меня подушкой по примеру гиганта индейца из фильма «Полет над гнездом кукушки». Так мы скоротали время до Нового года.

Новый год, как известно, домашний праздник. Лет с двадцати я взял за правило досидеть с родителями до часу ночи, а только потом уматывал на сторону. А тем более сейчас. Я думал, мы посидим вчетвером, поедим салатов и курицы, выпьем по глотку шампанского, поплямимся с полчаса в телевизор и — баиньки. Но Борисовы взяли нас в оборот.

Приятелю Борисовых, Рубину, приспичило жарить в снегу на костре шашлыки. Когда-то он уже жарил, и ему запомнилось и хотелось повторения. Борисовы соблазнились. Нужна дача. Я говорю, что это одно слово что дача. С детьми, с раскладушками, с собакой, в одной отапливаемой комнате восьмером — это бу-

дет ночлежка, мука-мученическая, а не праздник. Но Борисов неумолим: Новый год, говорит, есть Новый год, при малейшем недомогании я везу тебя в Москву, хоть в ночь-полночь. Я покочился малость, но уступил: уж больно они люди хорошие.

Выехали около трех на двух машинах. Эти пижоны снарядили «Опель» и гоночную вишневую «Тойоту». Я с детьми и собакой ехали на борисовском «Опеле», женщины — Лена, Оля, Наташа — на плоской гоночной Рубина. По городу ехали чинно, по Минскому шоссе — наперегонки. Дети визжали и болели за Борисова.

Нет, получилось не худо, зря я артачился. Борисов и Рубин не пьют, что-то с собой сделали. Я выпил полчашки шампанского и на правах хвораго лег спать, сдвинув сына к стене. Мужчины тоже долго не засиживались. Только женщины пили понемногу при настольной лампе, говорили вполголоса на свои женские темы, а я поневоле подслушивал вполуха: то Гриша раскрывался, то лезла в голову всякая нежить, и под утро, на будь что будет, я угомонился.

Возвращались с приключениями. Поехали кружным путем, боялись не взобраться на оледенелую гору. Но через пять-семь километров машины забуксовали в снегу на ровной лесной дороге. Все высыпали толкать переднюю, «Тойоту». Чтобы я не скучал, Саша Борисов, вылезая с матерщиной, включил магнитофон, «Страсти по Иоанну». Я смотрел сквозь лобовое стекло и сквозь прозрачный купол незлешней музыки, как они толкают, спорят, снова толкают, то дружно, то вразнобой, и думал что-то простенькое, вроде: они еще все там и у них свои заботы, скажем дорожное происшествие, а я уже здесь, совсем один. Вернее наоборот: они еще здесь, а я уже почти там. Литературщина мизансцены в целом, с Бахом впридачу, тогда не бросалась мне в глаза, а взволновала и растрогала. Наконец «Тойота» взревела и, виляя, вырулила на плотную колею. Подошла очередь «Опеля», где сидел я. Женщины догадались бросать на дорогу под колеса лапник. Меня передернуло.

На этом сочинение на тему «Как я провел новогодние праздники» оканчивается.

Дома я взялся за свое: спал, читал что полегче, шурился в телевизор, гулял с собакой, но воздух вокруг головы тикал и шелкал, словно дураковатый весельчак, ухарь и шельма, наяривал на расписных деревянных ложках. Очутился я незаметно на финишной прямой — 4 января меня клали в больницу.

Играть со смертью в гляделки, как не мною замечено, не получается, смаргиваешь уже через мгновение. Многим доводилось усесться поудобнее в пустоватом — ближе к ночи — вагоне метро, предвкушая 15—20 минут безнаказанного разглядывания попутчиков, особенно молодых женщин. Но сегодня ротозея ждет неприятный сюрприз: разглядывать не ему — его самого разглядывают, причем в упор. Сумасшедший с напряженной спиной и деятельными кистями рук примостился прямо на противоположном сиденье и весь — безумная заинтересованность. Отметим, пряча глаза: зрачки, расширенные недужным энтузиазмом, слюну на велеречивых устах дервиша, голую шею и заросший кадык, косо застегнутое на левую сторону пальто с чужого плеча, стоптанные туфли на босу ногу просят каши. Расслышим боковым слухом испорченную пластинку бормотания. Мотив нехитрый, от всхлипывающего сетования — до пронзительных угроз; слов разобрать нельзя. Мы всеми силами не смотрим-не смотрим на тебя, видишь, не смотрим. Мы с подчеркнутым прилежанием пялимся на твою соседку справа. А теперь скачком мы перевели взгляд на твоего соседа слева, нас заинтересовала его ондатровая шапка. Только и ты, будь умницей, отведи хоть на миг белые глаза, сморгни хотя бы. Но не отводит, не смаргивает. В таких случаях незаменим спутник, сосед и соседник. Такой принужденный дорожный разговор все-таки помогает изобразить искреннее равнодушие к полоумному визави. Но вот как раз с соседом мне не повезло.

«Косых Семен Петрович» — было написано от руки на бумажке, скотчем приклеенной над его изголовьем. Подобный же квадратик прилепили и у меня в головах. Кровать мне досталась угловая в десятиместной палате, и говорливый Семен Петрович взял меня в зажим и загнал в угол с первых же минут знакомства.

Тусклый черно-белый телевизор имел неосторожность помянуть Егора Гайдара, и политизированный сосед оживился и сообщил мне, как заведомому единомышленнику, что Гайдар скоро от ожирения в кресло не поместится. Соседа не смущало, что по части тучности талии и бедер он еще даст форы ненавистному реформатору. А мне в глаза бросилось, но я смолчал.

У соседа моего были две симметричные опухоли в височных долях. Поступил он одновременно со мной, и к операции мы приближались ноздря в ноздю. С операцией у нас вышла недельная заминка из-за отсутствия крови. Донорский пункт был тут же на первом этаже, но сосед пошел на принцип и сказал, что за такие деньги (предприятие оплатило ему лечение) он имеет право на пол-литра казенной крови. Лёну в донорском пункте завернули из-за регул. Айзенберг, Молчанская, Таня Полетаева вызывались поделиться, но я благодарил и говорил, что день-другой ничего не решают. Так и получилось: у меня же перед операцией взяли, мне же и влили.

Предоперационная неделя ушла у меня, главным образом, на игру в прятки с общительным соседом. Вернее по ощущению в кошки-мышки. Причем водил все время он и с неизменным удовольствием. Он играючи выуживал меня из кабины нужника, настигал курящего на лестничной клетке, брал тепленьким звонящего из ординаторской. А ночью я был в полном его распоряжении просто в силу расположения коек. Его тянуло ко мне, как равного к равному, с прочим сбродом нашей палаты он требовал якшаться. Мое упорное отмалчиванье Семен Косых принял за единомыслие одного белого человека (меня) с другим белым человеком (им). Белым человеком ему понравилось быть в Индии, где он несколько лет шестерил в торговом представительстве. Смачным щелчком толстеньких пальцев он показывал мне не раз, как отсылал туземца за куревом. Встречая меня по вечерам идущим из душа, он с пониманием кивал и говорил, что пора бы, пора бы и ему сполоснуться. На моей памяти так и не собрался.

Плохо спится в душной палате. А тут еще из ночи в ночь монолог справа из темноты:

— Нет, кровь прольется. Я, конечно, не за, но она прольется. Судите, Сергей, сами. Два ларька. Там и там лимоны. У русака по три тысячи, и тут же у озера — по три с половиной! Совсем оборзели! Или телевиденье. Я не против людей вашей нации, и по работе случались контакты. Но, по-вашему, это порядок, когда на р о с с и й с к о м телевидении, если не больше?

— Как вы узнали, что я еврей? Фамилия у меня польская, имя обычное, отчество разве что. Мать русская.

— А я гибридов сразу просекаю, — усмехнулся он в темноте с самодовольством мичуринца.

Пляшущими руками я нашарил на тумбочке сигареты и зажигалку и, набросив халат, вышел в уборную. Но цепкий сосед и тут не позволил мне оставаться над схваткой. Он, верно, решил меня утешить и, почесывая рыжие подмышки, сказал объективности ради, что где был Хачик, там двум Абрамам делать нечего.

Блядь! Я умру, может быть, он, может быть, умрет, все здесь ходят вокруг да около одного и того же! Неужели я должен тратить неделю перед самым серьезным своим испытанием на бездарные не знаю как назвать, на Хачиков и Абрамов!

Еще он храпел, навзрыд. Боялся ли я смерти в больничные ночи под залиvistый храп справа? А то нет. Но животного ужаса, насекомого цепляния за жизнь я в себе с одобрением не отмечал. Или я не додумывал до конца. Молился ли я в эти ночи? Молитвам меня не учили, сам я не выучился. В церковь заглядываю от случая к случаю, хотя крещен и пошу нагрудный крестик на серебряной цепочке. На службах я по преимуществу скучаю, если только не поют.

«Вот Ты видишь меня всего, — говорил я Ему. — Оборвешь неразбериху моей жизни, я не обижусь: сорок лет все-таки. И упрекнуть ни людей, ни обстоятельства, ни Небо не в чем. Сам кругом виноват. Но я пожил бы еще, если можно. У меня есть семья, я люблю ее; жена есть, дети. Я пожил бы. Пожалуйста».

А 12 января нам с соседом сказали, что завтра. Мы с ним подписали отскерокопированное согласие на операцию, и к нему пришла жена — брить его хитроумной заграничной машинкой.



А я спустился на первый этаж, толкнулся в запертую, вопреки расписанию, дверь парикмахерской и стал ждать Лену.

Брат пришел, потом Лена. Часа три мы бродили из палаты в курилку и обратно, грели кипятильником воду в банке, пили растворимый кофе. Брат, добрая душа, все медлил с уходом и прилежно, как по прописям, вселял в меня мужество. Наконец он ушел. Мы с Леной улучили момент, когда было свободно, и прошли в ванную комнату. Из окна тянуло.

Сначала Лена подстригла мне ножницами над газетой бороду. Жена считает, что у меня немужской подбородок, и я, сославшись на эту незадачу, оговорил с врачом право не обривать лицо наголо. Потом я разделся и сел на корточки в ванну со ржавчиной на дне и намылил себе грудь и подмышки. Поочередно я задираю руки, согнутые в локте, и Лена мне выбрила подмышки, у самого у меня плохо получалось. Затем грудь.

Было часов десять вечера, а мы все ждали парикмахера, сидя на моей кровати и оговаривая по сотому разу всякие мелочи. Дверь отворилась.

— Мальчишки! Кого брить на завтра?

Мы с Леной вышли на зов. Это была разбитная здоровенная баба с золотыми зубами и в крашенных сединах. Вроде буфетчицы, которой мы с Чумаком толкнули кофе за полцены.

В цирюльне на первом этаже было не развернуться, но Лена притулилась в углу и не вышла. Сто рублей стоило все удовольствие, но жена дала пятьсот рублей без сдачи, и я сел в косое валкое кресло. Нестерпимо воняло горелой стряпней.

— Кашу она что ли на плитке забыла? — рассмеялась свойская тетка и ручной машинкой проложила в космах, скрывавших мой гидроцефальный череп, первую просеку.

Все. И для нас с женой быт окончился. Дробь сократилась дальше некуда. Предельный покой не был воровством, как это ощущается взрослыми, — ему просто не имелось пристойной замены. Я совпал наконец с изначальным мужским назначением — подвергаться опасности. Дети мои, сын Григорий и дочь Александра, спали в доме моем. Как первозданная, Елена, жена моя, стояла сзади, и не было надобности оборачиваться, чтобы увериться в этом. Бой-баба, любимое исчадье верховного Шекс-

пира, карнала и балагурила и не сластила пилюли: помазок был бывалым, почти лысым; тупое лезвие в лихих руках скоблило болезненно в меру; и рваная простыня, наброшенная на меня спередела, заскорузла местами от крови бритья под ноль — предшественники были. Вот меня, умника, и оболванили.

В двенадцатом часу ночи я спустился с Леной в темный вестибюль.

— У тебя красивый череп, — сказала она, — тебе надо и впредь делать что-то такое.

Я согласился и помог ей попасть в рукава пальто. Мы поцеловали друг друга, помахали друг другу — она, стоя в дверях, а я со ступенек парадной лестницы, — и я пошел чистить зубы перед сном.

Свет был давно погашен. Палата дышала и посапывала вразнобой. Мой жовиальный мучитель спал, но сейчас не храпел. На цыпочках я прокрался к тумбочке, нашел туалетные принадлежности и выскользнул в коридор с погашенными через одну лампами. Уборная была тоже пуста. По правую руку — три раковины с зеркалом над средней. По левую, сразу у двери, — обитый дерматином топчан с консервной банкой под окурки; сюда же ложатся для предоперационной клизмы. Дальше слева в большой нише три кабинки. Второй пользоваться нельзя — засор. Окна в побелке. Я умылся с мылом и долго, то продольными, то поперечными движениями, чистил зубы. Потом я поднял на себя глаза: этакий чистюля в недельной рыжей с проседью щетине, ученических очках и с ваткой, прилепленной к порезу на голой голове.

Но сосед, окаянный, не спал. Упреждая идеологическую распря, я свернул на спорт, Тучково, лыжи в марте. Он не перебивал меня, молчал с минуту, когда я умолк, и сказал наконец вполголоса:

— Давайте нам приснится, что мы молодые, здоровые и бегаем вдвоем на лыжах.

Наркоз выветрился окончательно, и я сообразил, что мои сутливые сборы — сумки, торбы, котомки — были преждевременными. Легко было и покойно, только томило внизу живота. Я попробовал облегчиться лежа, при помощи утки, но мышцы меня не послушались. И начал я сетовать вслух, что не могу ходить по-маленькому. Невелик я был, и язык не поворачивался выразиться мужественнее: опростаться, помочиться и тем более отлить. Две белые сестры склонились над моим крантиком с длинной резиновой трубочкой.

— Куда-то я не туда попала, — сказала первая.

— Попробуй еще раз, — ответила ей вторая.

Первая попробовала еще раз и попала. И стала давить мне теплой ладонью на живот над срамом, и мне полегчало. Закрыв я глаза, и две слезы сползли по вискам, потому что такое уже было однажды.

Давным-давно в некотором государстве жил неплохой один Сережа. Жил он, как у Христа за пазухой, с мамой, папой, младшим братом и собакой. А потом запропал куда-то. Временами он, как водится, хворал, и, если температура превышала 39°, накатывала тошнота. Этот Сережа хныкал тогда и капризничал, и мама ставила у его кресла-кровати таз. Малец свешивался с подушки, и его выворачивало позыв за позывом, мучительно и сладостно. Голову на тонкой шее мотало туда-сюда, и мокрый от слабости лоб бодал материнскую ладонь, чувствуя обручальное кольцо...

Господи, как же я, оказываюсь, сам себе в этом не признаваясь, боялся, пугался, страшился, опасался, трусил, робел, побаивался, трепетал, дрожал, замирал от страха, трясся, дрейфил, обливался холодным потом, не смел дохнуть, пикнуть, рта раскрыть, труса праздновал, боялся как огня, боялся как черт ладана, — осмелюсь пополнить синонимический ряд словаря словом «перебздел»! Иначе как объяснить тот факт, что половодье телячьего восторга не спадает. Или мой аппетит после выписки? Я ел, как оголодавший, семь раз на дню — и не мог наестся досыта. Я вставал ночью и, сидя на корточках перед открытым настезь холодильником, жрал, жрал, жрал, и уши мои ходили под бинтами.

Ликующий безмозглый двоечник! Тебя не выгнали, а оставили на второй год, и ты благодумствуешь и врешь напропалую, что за каникулярное лето наверстаешь упущенное и выйдешь в отличники! Или ты не знаешь, что умишко твой куц и воля слаба, а лень и шкодливость безмерны, и уже через неделю ты начнешь всю гонять лодыря, оставлять клочья штанов на заборе и накрывать жестяной кусок карбида, пузырящийся в луже?

Лоботряс, экзамен не отменили, а перенесли; еще порвется серебряная цепочка и разобьется кувшин у источника... Ты копал в носу на уроке и прослушал, но это именно ты, программный, косой и серый, взлетый над гиблою хлябью милосердной рукою некрасовского деда! Уши твои оттянуты и пульсируют в его кулаке; глаза навывкате; резцы обнажены от тоски и муки; передние лапки поджаты; синяя жила бьется на брюхе; гениталии, твоя главная гордость и потеха, сжались в жалкий комок; задние конечности раскорячены и изредка взбрыкивают...

Но эта неумолимая женщина с лицом завуча и с сельхозинструментом в руке еще отперет мою дверь дубликатом ключей, подсядет фамиллярно к письменному столу, где под исцарапанным оргстеклом разбросаны — не только для памяти, но и с тайным умыслом: прикрыть кляксы на сукне — фотографии детей, жены, Лили Пап, Савченко, Сопровского, Головкина, израильского философа Йозеля Бин-Нуна с женой Эстер; а в центре стола — моя любимая, доставшаяся мне от матери дореволюционная розовая салфетка, блеклая, с бахромой, с вышитыми девичьим прилежанием голубенькой ниткой немислимыми цветами, а рядом тою же нитью стишок:

Взять захочешь аккордь  
полных звуков живыхъ  
А глядишь... диссонансь раздается... —

и начнет с издевательским повышенным интересом, оттопырив нижнюю губу и широко раскрыв глаза, изучать мои бумаги, полные жалоб, просьб, капризов, претензий и притязаний. Перелистает их и брезгливо и нехотя, с ужимкой литконсультанта, сложит, аккуратно побив ребром о стол и одновременно ровняя

ладонями с боков, вздохнет и порвет надвое, потом вчетверо, потом еще раз и театральным жестом развеет через плечо, так что клочки осядут плавно на пол, покрытый зеленым паласом, буфет, диван, круглый обеденный стол под холщовой скатертью...

Чего я хочу. Я хочу выучить английский язык; хочу разбогатеть за счет сочинительства и купить трех- или даже четырехкомнатную квартиру здесь же в Замоскворечье; хочу, чтобы мой литературный дар не оставил меня... А если окажется, что этого мне нельзя, а надо слиться с остальными людьми электричек, улиц, метро и каким-то обычным способом зарабатывать на жизнь — не беда, быть посему. Тогда я хочу доработать до пенсии в журнале «Иностранная литература» и тем более выучить английский язык и стать хорошим редактором; хочу дожить до внуков, бодрой старости и умереть в одночасье, потому что очень боюсь боли; хочу, если, не приведи Господь, жена моя умрет раньше меня, не поссориться с детьми из-за имущества и недвижимости; хочу, чтобы Гриша, мой сын, не плутал, не пачкался и не пачкал так долго, как это делаю я, а за дочь я почему-то спокоен; хочу, чтобы санэпидемстанция позволила похоронить меня на даче, но это уже чересчур; и еще я очень хочу, чтобы, когда я умру, Бог поднял меня на ту высоту, где сильная радость и ясным делается, почему возникают опухоли в мозгу несмышленных детей, и нашел все-таки возможным помиловать нас и меня.

**В поэтической серии «Автограф», издаваемой «Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:**

- 1. **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- 2. **В. Салимон.** Невеселое солнце
- 3. **И. Лиснянская.** После всего
- 4. **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- 5. **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- 6. **Н. Кононов.** Лепет
- 7. **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- 8. **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- 9. **С. Гандлевский.** Праздник
- 10. **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- 11. **В. Дроздов.** Стихотворения
- 12. **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- 13. **А. Цветков.** Стихотворения
- 14. **Д. Новиков.** Караоке
- 15. **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- 16. **Т. Кибиров.** Парафразис
- 17. **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- 18. **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- 19. **В. Салимон.** Красная Москва
- 20. **В. Зельченко.** Войско
- 21. **Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- 22. **А. Битов.** В четверг после дождя

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь  
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24  
факс: (812) 273-52-56

Гандлевский С.

**Трепанация черепа: История болезни.** —  
СПб.: Пушкинский фонд, 1996. — 120 с.

ISBN 5—85767—097—7

ББК 84. Р7

Гандлевский Сергей Маркович

**Трепанация черепа**

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1996

Редактор *Г. Ф. Комиров*

ЛР № 030 448 от 10 ноября 1992 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 02.07.97 г.

Формат 60x84x 1/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 7,5. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Зак. № 294.



Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

“Полиграфический центр”

190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6

Тел./факс 812 315 33 10